

Сергей Васильев

ПОРТРЕТ
ПАРТИЗАНА

ТРИЛОГИЯ В СТИХАХ

32833

О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1944



О Т А В Т О Р А

В этой книге автор попытался нарисовать образ простого русского человека, выходца из самых глубоких низов трудового народа. Герой трилогии, Александр Черенок, сначала битрачонок, потом колюх у московского купца, затем мастеровой, испытывает все ужасы эксплуатации и бесправия старого царского России и становится, наконец, активным сознательным революционером и воином. Александр живет и борется за счастье своего класса и за свое собственное счастье, как жили и боролись тысячи ему подобных. Теперь, когда гордые русские народ самозатверженно отражает нашествие ни нашу землю немецко-фашистских банд, история Александра Черенка должна напомнить читателям о славных традициях нашего недавнего прошлого. Завоевания Октября отстаиваем мы, деремся за свою независимость, свободу и честь, добытые кровью лучших людей нашего народа.

Книга эта возникла не случайно.

Был я проездом в одном уральском колхозном селении. Меня устроили на ночлег к радушному и гостеприимному рыболову. Когда я вошел в хату, — первое, что бросилось мне в глаза, был довольно поблекший портрет, написанный масляными красками, вставленный в желтую кленовую раму. Портрет изображал кудрявого молодого человека в папихе и дубльном полушубке, переkreщенном ремнями. Одна его рука лежала на эресе шашки, другая была заложена за отворот полушубка. Нижняя часть портрета была не окончена. Когда мы сели ужинать, я полюбопытствовал.

— Кто это изображен, хозяин?

— Это — боевой человек! Начальник партизанского отряда.

И хозяин охотно поведал мне историю портрета. Она была краткой. В восемнадцатом году в этих местах орудовал неуловимый партизанский отряд. Малый по численности, но крепко сплоченный и хорошо вооруженный, он громил белые пехотные части, расположенные в округе. Однажды отряд остановился на ночлег в этой самой избе. Была короткая передышка. И вот один из бойцов художник-самоучка, и в походах не расстававшийся с кистями и красками, стал рисовать командира. Целых два дня смиренно сидел командир, позируя бойцу. Но внезапный налет белых с тыла прервал работу художника. Командира ранили. Под огнем противника бойцы увели раненого начальника в лес.

Портрет хозяин спрятал и бережно хранил его до прихода красных, потом вставил в новую кленовую раму и повесил на стену.

— Как хоть его звали? Откуда он родом?

— Сказывали, что батрачил он в детстве на Урале, не то в Поволжье, а звали его Александром... И жена у него была Настасья. Он ей письма писал в Москву...

Всю ночь я не мог заснуть. Завидной и счастливой показалась мне мысль воскресить в стихах образ красного воина, черты которого были изображены на сером холсте в кленовой раме. Как протекли его детство и юность? Где? При каких обстоятельствах?

Может быть, давно уже сравнялся с землей, всеми забытый и поросший бурьяном, безвестный холмик партизанской могилы? А может быть, жизнь не оборвалась. Может быть, пройдя сквозь огонь и дым гражданской войны, остался жить и здравствовать мужественный и смелый человек?

Но не все ли равно! Воображение уже горячилось, выдумка беспокоила и толкала к столу. «В добрый час!»—сказал я сам себе и принялся за работу.



ДЕТСТВО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Холодное детство!
Каким его словом помянешь?
Видно, люльку качала
Сама холодина-судьба.

Не всхлипнешь,
Не выскочишь,
Глаз не прищуря, не глянешь:
Обобрета по-черному,
Дымом набита изба.

Так и встает оно в памяти,
Детство босое:
Шесть аршин в поперечнике,
Крытые глиной сырой,
Девять ртов,

Каравай, окропленный соленой слезою,
Да картошки чугуны
С голубой от огня кожурой.

Голодное детство!
Каким его словом помянешь?
Мать в Заборье ушла,
Может, на пять,
 а может, и на десять дней,
Не докличешься матери,
Рук до нее не дотянешь —
Все равно не услышит
За свистом летящих дождей.
То ли гром говорит?
То ли ведра гремят под горою?
Будто стенка стоит,
Затянуло пруды и сады.
Только стенка не просто,
А стрви, сплетенные втрое.
Не тесовая стенка,
А сделана вся из воды.

* * *

Но у доброго солнца хватает тепла,
Даже по льду бегут полыньи.
Холодина-судьба
Застудить не могла
Паренька из бедняцкой семьи.

Сквозь осиновый дым,
Как клубок-колобок,
Несмотря на жару и мороз,
Как принявшийся крепко
Зеленый дубок,
Паренек незаметно подрос.

Невысокого роста,
Не дюжий в плечах,

Но зато, прокопченный до ног,
От дождя не размок,
От нужды не зачах
Алексашка —
Лихой паренек.
И когда лишь девятый годок подоспел,
Выпал теплый
Весенний денек —
Он от старшего брата
Отстать не хотел,
Алексашка —
Лихой паренек!

По холодному пологу утренних рос,
Не приученный попусту ныть,
Не охотник на жалобы,
Весел и бос,
Алексашка
Пошел бороться.

Заливались щеглы
На высоких шестах,
Сизари зазывали подруг.
И еще превеликое множество птах
Говорило и пело вокруг.

— Молодец Алексашка!—
Кричали дрозды.
— Работяга!—
Свистели скворцы
И вились, распластав вороньи хвосты,
И звенели во все бубенцы.

Птичьи трели!
Их надо уметь различать,
В них и дружба
И ласка слышна.

Трясогузка, и та не хотела молчать.
— Не плошай!—
Щебетала она.

Где там было плошаты!
Весь в поту и пыли,
Алексашка
Старался, как мог.
И ложились пласты
Обновленной земли
У босых Алексашкиных ног.

Хорошо на загоне,
У птиц на виду!
А приехал с работы домой —
Хочешь — в бабки играй,
Хочешь — дуйся в лапту,
Хочешь — песни веселые пой.

* *

Так и жил бы в семье
И работал малец,
Да у счастья
Деньки коротки:
Как ни плакала мать,
Как ни думал отец,
А пришлось
Отдать в батраки.

За тринадцать целковых
На целый на год,—
Дескать, слабый еще мальчуган.
А как только по найму расчет подоид
Подарить посулили кафтан.

У хозяина дом —
Крестовик расписной,



Сортировка стоит у сеней.
Кроме трех битюгов — жеребец выездной,
Супоросых двенадцать свиней.

Он и сам-то, хозяин, как боров, здоров,
Рожа — свеклою,
Ноги — дугой.
По всему Белополюю на сотни дворов
Не найдется такой же другой.

Агафон Поликарпов!
Деньга на деньге,—
Хитроумная, жадная тварь.
Свой паром на реке,
Свой подвал на замке, —
Мукомол, мыловар и свинарь.

Самого бы его, ожирелого, в клеть.
Он стоит — подпирает бока:
— Наперед говорю,
Что работа легка —
Не придется о доме жалеть!..—

Только трудно поверить в такие слова
Человеку бедняцких кровей.
Все, что нехотя сказано было сперва,
Позабылося с первых же дней.

Алексашка — туда,
Алексашка — сюда.
— Что ж ты, сучий бездельник, ослеп?
Почему протекла
В кладовую вода?
Знать не дорог хозяйский-то хлеб?! —

Алексашка бежит
За ботвой в огород,
Алексашка свивает супонь,
Алексашка
Крапиву дерет у ворот,
Алексашка
Разводит огонь.

Неизвестно, куда запропал молоток,—
Алексашка, небось, вороват.
У телеги намедни
Осел передок,—
Алексашка опять виноват.

— Не жалеешь добра!
Не горюешь по нем?
Нет, касатик, дела не по мне!—
И хозяин витым
Сыромятным ремнем
Алексашку
Частит по спине.
А когда у телеги и что сокрушил —
Алексашка
Не знает и сам.



И текут,
Прожигая до самой души,
Два горячих ручья по щекам.

И толкает обида к дыре у плетня —
Без оглядки бегом через сад!..
— Мамка, мамонька,
Слышишь, маманька, меня?
Забери меня, мамка, назад!—

Мамка в жалости гладит морщинки у глаз:
— Помолился... всемилостив бог...
— Я молился, маманька,
Молился не раз,
Да выходит, что бог-то оглох?!

— Что ты, дитяtko!—
В ужасе крестится мать,—
Так про бога нельзя никогда.
Надо божию волю уметь понимать.
Ну, возьму я тебя... а куда?—

Алексашка — к отцу,
Но, устав от косьбы,
Безответен отец и суров.
Словно сдавленный
Горем сыновьей судьбы,
Он лишился приветливых слов.

Алексашка к старшему братану бежит,
Просит, молит его на лугу:
— Тихон, родный,
Скажи ты папане, скажи,
Не могу им служить,
Не могу!..

Но и Тихон молчит,
Что он скажет в ответ,
Если деньги забрали вперед,
Если денег не то что для откупа нет —
Побираться приходит черед?

Гладит Тихон братишку затекшей рукой,
На сырую сажает траву:
— Погоди, мой браток,
Потерпи, дорогой,
Заберу я тебя к Покрову.

Вместе на зиму примем
Поденный подряд.
В лесорубы артелью пойдем.
Хоть не сладко в лесу,
Не легко, говорят,
Все вольготнее будет вдвоем.

Глаз у Тихона карий,
Характер прямой,
Не отыщешь на свете добрей,
Да и весь-то он, Тихон,

Приветливый, свой
От чернявых волос до лаптей.

И бредет Алексашка обратным путем.
Над селом опускается тьма.
И встречает его
У двора, за углом,
Свиристелка — хозяйка сама:
— Тыфу ты пропасть,
Как есть не работник, а тать!
Али нету креста на груди?!
Гусака-то опять на дворе не видать,
Вот попробуй-ка мне —
Не найди!..

— Я сейчас...—
Алексашка в ответ говорит.
И бежит за овин, в буерак.
Так и есть —
Он опять на гумне, паразит,
Трижды проклятый, стерва-гусак!

Сколько раз Алексашку
Секли за него:
То уйдет за четыре версты,
То на погребке влезет в кувшин головой,
То загадит
На речке холсты.
И берет Алексашка того гусака,
Распинает его на току,
Заправляет репейник ему под бока
И вставляет перо гусаку!

Ненавистная птица
Встает на дыбы,
Вырывается,
К дому летит,

Подымает под окнами
Пыли клубы,
Тарарам учиняет в клетн.

Закудахтали куры,
Взметнулся петух,
Захлебнулся от лая кобель.
И летит над курятником
Розовый пух
И ложится, как снег, на кудель.

А гусак с перепугу
В амбар залетел, —
Попытайся его разыщи!
И хозяин решает:
— Гусак ошалел,
Зарубить его, гада, на щи!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кто слышал,
Как в тоскливой октябрьской ночи
Воют волки у голых озер?
Темнота...
Только две помутневших свечи,
Не мигая,
Идут на костер.

Это самый прожорливый,
Самый худой,
Недостреленный волк-лиходей.
Поседевший
От вечных погонь за едой,
Он давно не боится людей.

Зверь глядит на добычу,
Не дрогнув, в упор,
Он немедля задрал бы коня,
Но немислимый страх
С незапамятных пор
Заставляет бояться огня.

Кто сидел в этой волчьей,
Безрадостной мгле
И, вконец истомившись к утру,
Засыпал,
Прижимаясь к остывшей золе,
К почерневшему за ночь костру,
Кто изведал — тот знает,
Что даже во сне
Белый свет горемыке не мил.

...До двенадцати лет,
В продувном зипуне, |
Алексашка
По людям ходил.

* * *

Как-то подвечер,
В самый негаданный час,
Нарушая покой тишины,
По селу прогремел расписной тарантас
И свернул
У двора старшины.

Колокольчик казенный протенькал
и смолк,
Словно сразу к чему-то прирос.
И никто догадаться сначала не мог,
Что за вести урядник привез.

Понимали одно:
Не к добру занесло,

И жалели, что справен паром.
По такой поздноте
Ни в какое село
Не поедет урядник с добром.
Либо подати требовать
С бедных людей,
Либо новый какой разговор...
Оказалось дело гораздо лютей:
На войну забирали. Набор.

Разговоров особых
Приезжий не вел,
Больше крякал
Да гладил усы,
О смиреньи болтал,
О престоле молол,
Да попутно
Спросил про овсы.

Объявил и уехал посланник царёв,
Захватив на дорогу фонарь,
И застряло в ушах
Только нескрлько слов:
«Послушание»,
«Служба» и «царь».

Долго молча смотрели
Вослед мужики.
И, казалось, в такой тишине
Слышно было,
Как в тине заснувшей реки
Караси шевелились на дне.

Пахли ладаном
Страшные эти слова.
И народ как-то сразу ослаб...
Зарыдала в отчаяньи



Первой из баб
Агриппина Рыжова, вдова.

Говорили, что в девках
У ней был жених —
Первый певчий из Брода-села.
И при полном согласьи
У них у двоих
Песня вроде спасенья была.

До того голоса у них были чисты,
До того
Каждый голос был мил,
Что рабочий народ
Даже в дни пахоты
Всякий вечер их слушать ходил.

Но забрали в солдаты
Певца-жениха, —
Опустело в родной стороне,
А солдатом-то быть —
Далеко ль до греха?
И бедняга погиб на войне.

Белый свет Агриппине стал больше не мил,
Загрустила,
Душою темна́,
Словно на сердце камень ей кто положил..
С той поры
Не певала она.

И хоть отроду
Не было мужа у ней,
Вековуху с седой головой,
Как бы в память
О счастье девических дней,
Все ее называли вдовой.

Этой осенью с Гудовки Тихон пришел,
Девять месяцев в шахте отбив,
Возвратился домой он,
Угрюм и тяжел
И как раз
Угодил под призыв.

Неизвестно,
Как шахта была глубока,
Только было известно, что там,
На отбойной работе,
Нашел он дружка
Много старше себя по годам.

Недозволенным словом тревожиться ста
Уходил в потайные места.
А дружок Афанасий киркой испытал
Весь Урал
От пласта до пласта.

За спиной у него будто вихрь задувал,
Годы бедствий прошли чередой.
Он и уголь рубал,
И в солдатах бывал,
И в Заборье ходил за рудой.

Но куда бы дорога его ни вела,—
Всюду злая вставала черта:
По одну ее сторону роскошь была,
По другую —
Была нищета.

По одну ее сторону —
Голод и вши,

По другую —
Угодья цвели.
По одну —
Загребали в мошну барыши,
По другую —
На каторгу шли.

Говорил Афанасий:
— Какого рожна
Нам в потемках по свету кружить?
Темнота-то,
Кому она, братцы, нужна?
Мы хозяев должны
Сокрушить!..

Вместе с ветром
Разбуженный Тихон вдыхал
Боевую,
Запретную речь.
Обещал он товарищам
Всё, что слышал,
Как святое оружие, беречь.

И сберег бы шахтер
Эту клятву навек
И в большое бы счастье проник,
Да по-разному скроен, видать, человек —
Прежде времени Тихон поник.

Как тогда поминали
Казарму-тюрьму?
Мордобои, с утра в поводу.
Горше ссылки она показалась ему,
И Тихон решил:
— Не пойду!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

День и ночь, день и ночь
Алексашка берег
Незабвенную думку одну.
Сколько разных тревог
Уносил ветерок,
Сколько их оставалось в плену!

Не мечтал Алексашка в дому у господ
Подогретые
Есть пироги,
А мечтал Алексашка
(Который уж год!)
Покупные надеть сапоги.

Есть ли что-нибудь краше,
Чем пара сапог?
Частым рубчиком выведен рант,
Хочешь — с правой ноги,
Хочешь — с левой ноги,
Так и эдак примеривай —
Франт!

Алексашке приснился сегодня опять
Беспокойный,
Немыслимый сон:
Будто пару сапог
Он пошел покупать,
Разыскал и размер и фасон,
Сторговался, расчелся.
Присел на скамью.
Только правую ногу в сапог...
— Ты чего здесь засел
На скамью на мою? —
Кто-то раз,
Кто-то два его в бок!



Алексашка скорей
На другую скамью.
Только правую ногу обул...
— Ты куда примостился, мошенник? Убью! —
Чей-то голос,
Как хлыст, полоснул.

Алексашка в тоске осмотрелся вокруг,
Только низ подвернул у порток...
Сапоги увернулись вдруг из-под рук —
И давай от него
Наутек!

Мимо сонных дворов,
Мимо старых ракиг,
За бугор,
В гушину камыша,
Правый пятится,
Левый вперед норовит,
Схватишь оба —
В руках ни шиша!

Вот уже сапоги
За высокой кугой,
Не ушли бы
Под воду, смотри!..
Прозевал!
Захлебнулся один и другой,
И остались
Одни пузыри.

Алексашка — за ними!
Как блин за блином,
Разошлись
Водяные круги,
Вот идет он в погоню,
Как есть, нагишом:
Вдоль по речке
Бегут сапоги.

Не пускай их хоть к вётлам!
Держи на мели!
Ухвати их
За мокрый носок!..
Но куда там хватать!
Сапоги уползли,
Как вьюны,
Под зыбучий песок.

Алексашка проснулся
В холодном поту.



Неужели
Не купит отец?
Неужели и в этом,
И в этом году
Не придет ожиданью конец?

* * *

Воскресенье всегда
Начиналось так:
Звон к заутрене, медленный пар
На хозяйском столе
Выдыхал самовар,
У калитки
Стучался бедняк.

Подперев костылем навесную суму,
Нищий долго
И скучно просил.
— Проходи, проходи!—
Говорили ему;
И, не выпросив,
Он проходил.

Алексашка скотину поил. Начищал
Оцинкованный дойник худой.
Рукотёрку-вехотку скрутив из мочал,
Мыл пролетку
Горячей водой.

А потом наступал
Долгожданный момент.
Говорила хозяйка:
— Ступай!
Да вертайся ко времю:
Не тот инструмент,
Чтоб ходить за тобой...
Так и знай!

Это значило:
Можно домой до утра!
От волнения —
На сердце пожар:
А куда это ездил
Папаня вчера?
День субботний,
Небось, на базар?!

Алексашка спешит,
Ускоряет шаги.
Вот околицу он миновал,
Вот он в избу ввалился,
И... чуть не упал.
Что ж он видит?
Опять сапоги!

То ли сон, то ли бред,
То ли верить не след?
И не бред в этот раз,
И не сон.

— Обувай, Алексашка! —
Короткий ответ
С четырех раздается сторон.

Справа — мамка веселая,
Слева — отец,
По-за дверью —
Сестренки стоят,
И у каждой
Торчит за щекой леденец,
И на каждой —
Обновка-наряд.

Никогда еще не было,
Чтобы отец
По своей бедноте,
«На-авось»,
Продал меру пшена,
Продал пару овец
И гостинцев
Ребятам навез.

— Ой, спасибо, папанька!
Спасибо, папань!..
— На здоровье, сыночек,
Надень!
— Глянь-ка, мамка, на задирки!
— Сам-то ты глянь!
Да на улицу глянь, на плетень!..

А на улице,
В искрах осеннего дня,
Табунком
Перед самым окном
На верхушке плетня
Собралась ребятня,
И шумит ребятня
Об одном:

— Алексашке отец
Сапоги подарил!
— Побожись! На подборах?
— Угу...
— Да не верьте Сычу, у него волдыри
От вранья по всему языку!..

— Вот-те крест!
Я видал, как он нес их домой...
— Тихо, тихо, опята-грибы!..—
Руки в боки,
Не чуя земли под собой,
Алексашка
Шагал от избы.

Сапоги далеко оказались не те,
Что достались было во сне.
Но и эти,
Без всяких рубцов на ранте,
Были дороги,
Даже вдвойне:

Все застыли
При виде такой красоты.
Даже самый горластый, Бурлак,
Задиравший всегда
За четыре версты,
Ненавистник,
Вертун и сопляк!

* * *

Целый день
Алексашка провел, как герой:
Верховодил
Над всем табуном;
В городки,
В выручалки играл под горой;

На ходулях
Ходил ходуном.

Ничего не хотелось:
Ни пить и ни есть,
Все хотелось куда-то спешить.
На траву ни прилечь,
На бревно ни присесть,
Все ходить бы,
Ходить и ходить!

Чтобы видели все,
Каковы сапоги
С парафиновым скрипом внутри.
Хочешь — с левой ноги,
Хочешь — с правой ноги,
Хочешь — слушай,
А хочешь — смотри!

Между тем вечерело. Студеный дымок
Над рекою
Поплыл в темноте,
И уже не скрипели подошвы сапог,
А ворчало
В пустом животе.

Позабыв про еду,
Полон счастьем своим,
Утомленный
Хвальбой и ходьбой,
По тропинкам глухим,
По проулкам пустым
Возвращался гуляка домой.

Только прежде чем в избу пойти напрямки
И за свежий засесть каравай,
Алексашка решил
Обтереть сапоги,

Забежать
На минутку в сарай.

Сапоги — не портянки!
Не купят теперь,
Может, года четыре подряд...
Подбежал,
Распахнул кособокую дверь —
И в смятеньи
Отпрянул назад!

Посерёдке сарая,
У старых колёс
В пустоте,
На ладонь от земли,
Чьи-то ноги висели лодыжками врозь,
Неподвижные,
Как костыли.

Алексашка сначала признать их не мог,
Отступился
И вдруг задрожал:
«Тихон!» — крикнуть хотел,
Но тягучий комок
Пересохшее горло зажал.

Брат висел на плетеных
На длинных вожжах;
Алексашка
Пригнулся под ним,
И уже ни смятенье,
Ни боль и ни страх
Не владели
Ни капельки им.

Нужно было не дать
Совершиться греху!

Упираясь плечом в коноплю,
Он хотел приподнять его так,
Чтоб вверху
Хоть немного
Ослабить петлю.

Он напрягся до хруста в спине,
Как умел.
(Смерть была между ними двумя!)
Труп, казалось, подался,
Но тут же осел
И бессмысленно
Замер стоймя.
Он уже холодел, посиневший братан,
Всё до жилки в нем было мертво.
Узловая вожжа,
Как суровый гайтан,
Подымала
Под кровлю его.

И тогда,
Как глухую плотину вода,
Дикий вопль
Распорол немоту:
— Тихон, Тихон решился!
Папаня, сюда!—
Алексашка
Завыл в темноту.

Всё померкло:
Забавы воскресного дня,
Залитые лучом золотым,
Долгожданный подарок,
Мечты, ребяшня —
Всё оглохло
И выдохлось в дым!

Это первая злоба,
За сердце задев,
Заходила,
Как брага в ковше.
Это страшный,
Еще не испытанный гнев
Закипел у мальчишки в душе.

От кого он идет,
Этот гиблый надел,
Где неслыханной смерти вина?
Кто хотел, чтобы Тихон веревку надел?
Может, он, — волостной старшина?!

От «святых» его слов,
Как от черной чумы,
Много лет
Вся деревня в слезах,
Так скорей же туда,
Под прикрытием тьмы!
К старшине!
Для расплаты впотьмах!

По проулку зачем?
Велика долина.
Через меркнувший сад,
Напролом!
Вон он, видишь,
Сидит у окна старшина,
Распивает чай за столом.

— Всякий раз по полдюжине
Блюдцев подряд —
Больно дорог
Китайский-то чай!
И кирпичный чаек ничего, говорят,

Ну-ка пробуй его,
Получай!.. —

Алексашка, не целясь,
За сорок шагов
Хлобыстнул
По стеклу кирпичом!
Только брызги в ночи,
Только стук каблуков,
Только ветер ночной за плечом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Священник сказал,
Что в отступниках Тихон ходил,
Супротив будто
Бога-Христа.
Потому хоронили его
Без кадил,
На погост отнесли
Без креста.

Замолчала толпа
Перед скорбным концом.
Только мать
В неизбывной тоске,
Припадая
К родимой могиле лицом,
Слёзно билась на влажном песке.

Всё казалось ей, матери:
Встанет сынок!
Как живому,
Кричала ему:

«Спамятуйся, родимый!
Подумай чуток,
Не пойму я тебя...
Не пойму!»

А когда возвратилось
Семейство домой,—
В разлетаике
Из тонкого льна,
Опоясанный гарусной
Новой тесьмой,
У избы ожидал старшина.
— Вот что, братцы,
Я вас не гублю, не душу.
Без того вас, видать, припекло...
Но как честных крестьян
Я вас миром прошу
Рассчитаться со мной
За стекло.

Понапрасну пока
Я на вас не серчал.
Так что вы у меня не того...
Я советую всё-таки взять на причал
Молодого
Волчонка своего! —

Алексашка не знал,
Как затеялся спор,
Как отец заработал синяк, —
Алексашка с разбега
Махнул за забор
И задами
Ушел в березняк.

Здесь, средь гаснущих листьев,
В осеннем дыму,

Безопасные были места...
По проезжему тракту,
Один к одному,
Захмелевшие шли рекрута.

Кто-то тронул гармонь,
Но замолкли лады,
Голос песни плеснул и зачах.
Что несли они,
Горькие дети нужды,
В деревянных своих сундучках?

Что ждало их
За дальним столбом городским?
Шапки сдвинуты,
Лапти — в пыли.
Весь их пасмурный облик
Казался таким,
Словно их под конвоем вели.

Алексашке подумалось:
«Кабы знатьё,
Вот уйти бы за ними — и на!..
Все равно, теперь дома
Какое житьё —
Загрызет
За стекло старшина!»

Пожелтые листья
Роняли росу;
Воронье вдалеке пронеслось...
Как легко и привольно
Дышалось в лесу,
И как тяжко
И грустно жилось!

Попытайся,
 Кручину свою задари —
 Не нужны ей
 Твои медяки...
 Буйно запил отец,
 От зари до зари,
 Беспробудно,
 Как пьют бедняки.

Что с того, что закрыты
 Вокруг кабаки!
 Горькой хватит — была бы деньга.
 Если лошади нету —
 Найдется дуга,
 Если нету дуги —
 Сапоги.

Сапоги!
 Задушевная радость сына.
 «Ой, отец! Знать, кручина его извела.
 Не пропил бы он их у дверей кабака!»
 Беспокоилась мать, не спала.

Подымалась,
 На цыпочках шла к камельку,
 Зажигала лучину тайком.
 «Надломился мужик,
 Не понять мужику,
 Что не можно
 Ходить босиком.
 И не дай ты, господь,
 Сохрани, помоги!»
 Первой ночью —
 К рассвету легла,
 На вторую вставала —
 Лежат сапоги,

А на третью
Сапог не нашла.

Всю неделю отец не заглядывал в дом,
Опостылело, видно, жильё, --
Все старался залить
Окаянным вином
Безутешное горе свое.

Столько горя на мать
Навалилось впервой.
Обложила ее седина,
Будто целую ночь
По бурану она
С непокрытою шла головой.

* * *

То, что в мыслях живет, —
Надо так понимать, —
Совершается вдруг наяву.
И надумал отец,
И решилася мать
Снарядить Алексашку в Москву.

Так и думали дома: покуда тепло —
Доберется сыночек,
А там
Пораскинет мозгами —
Найдет ремесло,
Не забудет
Помочь старикам.

Собирались недолго.
Сплели лапотки,
Залатали худой зипунок,
Девять гривен последних
Зашили в портки,

Хлеба в сумку —
И в путь, Черенок!

На прощание мать напоила кваском,
Поглядела в глаза,
Обняла.
И взмахнул Алексашка тогда батожком,
И промолвил:
— Была не была!

Понимал он,
Что играм теперь не бывать,
На него
Опиралась семья.
Не играть в выручалки,
А хлеб добывать
Уходил он в чужие края.

* * *

Покидал Алексашка родное село
У слепящих лучей
На виду.
Красногривое солнышко
По небу шло,
Заломив козырек на ходу.

Наступившее утро
Играло в дуду,
Закликало
Рудым петухом,
Жолудем твердым стучало в саду,
Разрывалось
Сухим лопухом.

На макушках
Еще не дозревших рябин
Заиграла
Кистей кутерьма.



Что ни ягодка —
То самоцвет и рубин,
Что ни веточка —
Блестка сама.

Вон подсолнух стоит на зеленой ноге,
Озорной головой
На восход;
Вон девчонка
С кривым коромыслом в руке
За водою
На речку идет;
Вон проворною стаей летят журавли.
— Долетим! —
Раздается окрест.
Вон, забрызганный солнцем,
Белеет вдали
Со скворешнею струганный шест.

Тихон! Тихон!
Разбей гробовую кору,
Шевельни занемевшим плечом.

Посмотри,
Как шагает браток на ветру.
Не поймет он тебя нипочем.

Что бы ни было:
Холод, плохие харчи —
Алексашку
Не взять на крючок!

— Молодец, Алексашка! —
Кричали грачи. —
Добрый путь,
Дорогой землячок!

Птичьи проводы
Надо уметь различать.
В них большая душевность слышна.
Трясогузка и та не хотела молчать:
— Не сдавайся! —
Пищала она.
Стрекотали сороки
В колючих кустах,
Били дятлы
У темных яруг,
И еще превеликое множество птах
Говорило
И пело вокруг.





ЮНОСТЬ АЛЕКСАНДРА

ГЛАВА ПЯТАЯ

Не та Москва,
что дома в Зарядьи
держала впрок
да пекла олады,
да ела их пополам с икрой, —
а та Москва,
что в нужде кабальной
ютилась в Марьиной Роще дальней,
была Александру
родной сестрой.
«Терпи, — говорила судьба, — не сетуй,
настанет время —
за муку эту
поедешь прямою дорогой в рай!»

Чего-чего,
а житья худого
на долю люда мастерового
судьба выдавала
по самый край.

* * *

Сон, безмолвие и покой
на улице

на Ямской.

Чуть покачивая головой,
дремлет

в будке городской.

Из дырявых небесных сит
дождик

медленно моросит.

Перестанет

(минут пяток)

и шутя

перейдет в поток.

Дремлет

сонный городской:

никого нет на мостовой.

Да и кто

побредет сейчас —

в этот ранний, холодный час?

Неказистый,

рябой на вид,

полукаменный дом стоит.

С мезонином

(два этажа),

водостоки поела ржа.

Фортка круглая, как дупло.

Из подвала

валит тепло.



Так и манит
снаружи вниз
сладкий запах такой — анис.
На воротах доска висит:
«Булочная, — гласит, —
Дронова А и Ф»
(бублики держит лев).
Формы,
 противни и крючки.
По застенкам
 свистят сверчки.
И, ни слова не говоря,
вертят крендели пекаря.
Как кузнечная,
 пышет печь —
надо во-время всё испечь.
Горячи,
 горячи,
 горячи,
надуваются калачи.
На поду
 сидит королем
белый ситничек с мизулём,
с твердою корочкою — ржаной,
пеклеваный и заварной.
Слойки,
 бублики,
 пирожки,
пышки,
 маковики,
 пирожки...
— Живо, живо!
Кончай базар! —
Старший пекарь кричит — Назар.
Он с хозяином сват и брат,
потому —
 отличиться рад.

— Поворачивайся, не зевай!
Алексашка,
давай вставай!

* * *

Если даже удачи нет,
крепко спится
в шестнадцать лет.
Как бы жизнь ни была тесна, —
всё светло
под покровом сна.
Сновиденья,
тепло,
уют —
спал и спал бы,
да не дают.
Где же лучшую жизнь сыскать?
Александрю не привыкать!
Сжавшись весь под дождем,
как вор,
он бежит через грязный двор,
как и прежде,
разут и рвань,
запрягать жеребца в рыдван.
Вон проснулся хозяин сам —
сразу видно его по усам.
Он в кальсонах стоит на крыльце,
рыжий дьявол
в мучной пылице.
— Подавай,—кричит,—подавай!
Пошевеливайся,
не зевай! —
Семь корзин —
ровно семь пудов
духовитых
печных хлебов

Алексашка в один момент
ставит рядышком
под брезент.
Всюду лезет хозяин сам:
— Развезешь хлеб по адресам, —
возвращайся
скорей домой,
скинь брезент
да фургон помой! —
Александр стоит на возу:
— Не волнуйтесь,
развезу!
Ну-ка, Чалый,
пошел вперед!.. —
Свист —
и выехал из ворот.
Дремлет сонный городской —
Никого нет на мостовой.
Надоело ему дремать:
ни погреться,
ни поорать.
Между тем
духовитый воз
подъезжает под самый нос.
— Стой! — ярится городской. —
Ты откуда?
И кто такой?
Конюх Дронова,
так-перетак?!
Дай-кось бубликов на пятак!
— Не торгую я...
развожу...
— Я тебе ярманку покажу! —
За чупрун берет извозца,
за узду берет жеребца,
поднимает брезент, рыча,
и хватает два калача.

— Не хотел, болван, за пятак,
угостимся за просто так!

* * *

Дождь стихает.

В туман одет,
над Москвою встает рассвет.
Гаснут редкие фонари...

Алексашка,

 вокруг смотри!

Будка каждая,

 каждый дом —

всё омыто вокруг дождем.

Что ни столб —

 черен весь, поджар,

будто только что был пожар.

Стали пестрыми от воды

ставни,

 лавочные ряды,

церковь в розовой епанче,

флаг на марьинской каланче.

Даже кажется, что промок

над фабричной трубой дымок.

Будь в деревне такой же дождь —

там по улице не пройдешь.

А Москва —

 есть всегда Москва!

Легкий ветер подул едва,—

и мокреть

 как сняло рукой,

и булыжник уже сухой.

Всё приветливей и светлей.

Всё отчетливей и теплей.

По встревоженной мостовой
потянулся мастеровой:

плотники,
 кровельщики,
 столяры,
медники,
 шорники,
 маляры.

Стряпчий в гору рысцой спешит,
пёс с кошелкой за ним бежит.
По проулку промчал лихач —
кучер ездить, видать, ловкач.
Барин

 с барыней молодой...

Фу-ты, ну-ты
 рессоры гнуты,
вишь, подишь-ты фасон какой!
Все торопятся,
 все снуют —

всё служивый, рабочий люд.

Кто — умеет водить пером,

кто — орудовать топором.

Кто — становится за верстак,

кто — иконы писать мастак!

Всё протяжней

 и веселей

крик знакомый: «Углей, углей!»

И совсем на басах,

 как гром:

«Покупаем, старье берем!»

Вот, наконец,

 поднимая грай,

двинулись тучи

 галочьих стай.

Это

 ударил со всех сторон

медный, пронзительно долгий звон.

Говор кованых языков,

ранний рёв сорока-сороков.

Хоть ленив жеребец в езде,
Александр побывал везде.
Был на Трубной
 и на Донской,
на Неглинной
 и на Тверской;
На Остоженке в тупике,
у моста
 на Москве-реке;
у трактирщика-старика,
у Игнатья-часовщика,
у владельца крымских бань,
у купчихи
 по кличке «Глянь»,
у торговца мореным льдом
(трехэтажный кирпичный дом),
в балалаечной мастерской
(струны тенькают день-денской).
Где —
 встречали его с ленцой,
с неожиданной добрецей:
хоть, мол, стар у тебя жеребец,
все же парень ты молодец!
Где —
 наградою за труды
распекали на все лады:
мол, хозяин твой плут, малец,
да и сам ты, видать, шельмец!
Но не все ли равно ему,
парню горькому моему:
где же лучшую жизнь сыскать?
Александру не привыкать!
Оставался
 последний дом,
за бульварами,
 над прудом.



В этом доме
 (к чему скрывать!)
Алексашка любил бывать.
Две причины тому виной.
Сначала поведаем об одной.
Одна «причина» была важна:
с черной косою ходила она.
Как на картине, коса вилась —
Настенькой-горничною звалась!
От этой чернявки
 (в который раз)
не мог оторвать Алексашка глаз.
Увидит, бывало, ее у ворот —
и весь переменится, весь замрет.
Но как тут заигрывать:
 он — босой,

она же —

в переднике и с косой!
Вторая причина была простой,
незадачливой и пустой,
но именно с нею-то,

как назло,

Александру не повезло.

Жила в этом доме, храня добро,
одна генеральша —

мадам Домбро.

Генеральша была вдова,

и ходила о ней молва:

неизвестно было, каким трудом
содержала хозяйка богатый дом,
где получала доход

и как,

но держала она собак.

Да не пять собак

и не шесть,

а начни считать —

так не счастье!

Разных —

пегих,

рябых,

косых.

Фоксов,

пуделей

и борзых.

И была средь собак одна,
в белый бархат обряжена.

Можно верить, а можно нет,—
был надет на нее корсет,
и лечили ее с утра
настоящие доктора.

Обходилась хозяйка с ней,
как с богатой родней своей:

— Зизя! Зизичка!..

Вас ист дас?—

И сейчас шоколадку даст.
Алексашка был боевой,
меж собак

он ходил, как свой,
но ни разу, хоть был удал,
собачонку ту не видал.
То есть видел, конечно, но
в отдаленьи,

через окно,
а хотелось взглянуть вблизи,
что такое есть за Зизи.

Ой! Любопытство!

За ним всегда
где-нибудь рядом стоит беда...

* *

Случилось так,

что на этот раз
ему эконожка дала приказ
снести незатейливый свой багаж
прямо в буфет,
на второй этаж.

В первый раз

Александр шагал
по гладким стёжкам
богатых зал;
робким шагом,
разинув рот,

медленно

двигался он вперед.

«А что,— подумал он,— если мне
укрыться где-нибудь в стороне...

Спешить-то некуда, посижу,
а сучку все-таки разгляжу!»



Снес корзину,
пошел назад
и, не раздумывая, наугад,
как мог осторожнее и быстрее,
свернул в ближайшую из дверей.
В то, что предстало его глазам,
долго потом он не верил сам:
башкой на подушке,
совсем вблизи,
на мягкой перине
спала Зизи.
На плюшевом столике,
недалеко,
дымилось в блюдечке молоко
и тут же рядом,
наискосок,—
мяса жареного кусок.
Вытянув хвост
и глаза смежив,
зверь лежал,
будто был не жив,
тихо,
на выглаженный платок
высунув розовый коготок.
Глядел Алексашка
во все глаза
и думал с ревностью:
чудеса!
Вздохнул. Помялся.
Еще вздохнул.
Пошел обратно
и... вдруг чихнул!
Не в силах
ничем побороть испуг,
Зизи
надулася, как индюк,

в ярость вся превратясь
и в злость,
словно у ней
отобрали кость.
Стоял Алексашка
ни мертв, ни жив,
застыв и дыхание затаив.
Стоял,
как надрубленная лоза,
с лохматой бедою
глаза в глаза.
Дать ей пинка?—
не ответишь вовек.
Взять придушить?—
не таков человек.
Попробовать лаской?
Остаться тут?
Застанут —
жуликом назовут.
Выход остался один:
удрать!
Но поздно было уже выбирать.
Собаку —
как ветер с кровати сдул.
Прыжком сиганула она через стул
и, разъяренная, у стены
взяла
любопытного за штаны.
Штаны были ветхими,
сущий хлам —
так и треснули
пополам.
Переда нету,
а зад живой.
Словом, дела —
хоть ложись и вой.

Бежит Алексашка,
раздет, разут,
а генеральша-то тут, как тут.
Как увидала его вдова,—
так и свалилась едва жива...
Бежит Алексашка!
Тряпье в руке.
Ткнулся в парадное —
на замке.
Все адреса растерял на бегу.
Забился в угол —
и ни гу-гу.
Сидит за тумбочкой,
без порток...
И вдруг доносится шопоток:
— На вот, дурень,
вылазь с угла...
Другой одёжки я не нашла! —
Смотрит парнишка
туда-сюда.
Что там такое?
Опять беда!
Смотрит и видит
(позор и стыд!):
Настя, чернявка-то, рядом стоит.
Стоит —
и тянет к его рукам
юбку с оборками по бокам.
Какой конфуз!
Но не всё ль равно?
Напялил юбку
и — шась в окно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Как тянет к солнцу
упрямый ствол
сила влаги
и горьких смол,—
так человека
ведут в ночи
первой
и ясной любви лучи.

Льет ли
назойливый дождь с высот,
ветер ли понижу
пыль несет,—
ярко витают
в плену мечты
первой
и ясной любви черты.

Как тесную завязь
прорвавший лист
радует видом,
упруг и чист,—
так неизменно
чиста всегда
первой
и ясной любви звезда.

* *

Напасть идет по следам,
как тень.
Александра
выгнали в тот же день.
Медью
три целкаша на круг —
и взятки
гладки
с хозяйских рук.

Хозяин топнул ногой о порог:

— Чуть не запрятал меня в острог!

Стыд сказать,

воспитал орла..:

А что если б барыня померла?!—

Алексашка и сам-то

понять не мог,

кто генеральше

и чем помог.

Путаясь в мыслях,

гремя деньгой,

шел он по улице

по Ямской.

Шел, не оглядываясь назад,

куда глядели его глаза.

Знакомое дело —

назло судьбе

шагать,

не думая о себе.

А день

уже угасал и мерк.

Стоило только

взглянуть наверх,

в пасмурный купол небес, туда,

где бледная

вспыхивала звезда.

Москва,

как вчера и позавчера,

опять становилась

темна и сыра.

Можно кружить по ней,

кочевать,

но где-то ж надо в Москве ночевать?

«Где-то» и «хоть бы»

и «как-нибудь» —

самый проклятый

и горький путь.

Лихая недоля туда вела —
Драчевка в старой Москве была.
Хитрову рынку — прямая родня
стояла Драчевка,
 как западня.
И весь ее вид,
 от лаптей до сусал,
как бы заманивал
и зазывал:
«Кто там еще не увяз,
 не зачах?—
спешите
к угоднику на Драчах.
Кого там еще
 не попутал грех?—
идите, хватит меня на всех!»
Москва погружалась во тьму.
 Дрожа,
вышли на улицу сторожа...

* * *

Много на свете
 кривых дорог,
где человек голодал
 и дрог.
Много несчастий
 и много бед,
но горше ночлежки
 на свете нет.
В дымном от сальных свечей свету,
по эту сторону
 и по ту,
на нарах
 навытяжку,
 без рубах,
лежали ночлежники,
 как в гробах.

От серых стен
отличим с трудом,
висел над ними
с раскрытым ртом,
в спертom воздухе,
в духоте,
лик спасителя
на кресте.
И страшен был,
угодив на крюк,
Христос,
отделившийся от дерюг.
И самый набожный человек
к нему
не поднял бы тяжелых век.
Здесь были все,
кто дружил с тюрьмой,
с ножом,
с «казенкою» и с сумой,
все, кто свихнулся
и обнищал,
все, кто согнулся
и отощал,
всякий,
кто, потеряв покой,
духом пал
и махнул рукой.
Вон тот,
который глядит в упор,—
каторжник беглый,
бандит и вор.
А тот вон,
который с лица землист,—
бывший певчий,
теперь морфинист.
Этот,
что в бабы чулки обут,—



в прошлом барин,
а ныне — плут.
Все, кто крепился еще вчера,—
теперь пропойцы и шулера.
Куда ни сунься,
куда ни глянь,—
слезы и горе,
гнилье и рвань.
А там, возле печки, у всех на виду,
плюнув с досады
в глаза стыду,
подмяв под себя из рогож щиты,
сидели
женщины нищеты...
Старые, юные,
разных лет.
И на каждом лице — невеселый след
слабых,
без толку растраченных сил,
резких румян
и густых белил.
Александр глядел на них
в первый раз,
на тусклый блеск
их запавших глаз.
Глядел и слышал,
как холодок
шел от спины
и до самых ног.
Где ему тут завестись, теплу!
Место себе
отыскав на полу,
свернувшись
на тонкой кошме в комок,
лег Александр,
но заснуть не мог.
Трижды ворочал кошму, потом

лег на рваный зипун животом,
потом

попробовал на боку...

И вот ощутил Александр тоску.
Дурная,

идущая из нутра,
она начиналась еще с утра,
и стало понятно,

что двух минут
ему не пробыть
и не выжить тут.

Куда угодно,

хоть в пекло, в ад,
но только не здесь,
где живьем смердят!

В ушах начинался
какой-то звон,
Александр поднялся
и вышел вон.

Сверху и донизу,
как могла,

его прохватила
ночная мгла,

и всё же казалась ему она
куда приятней
и слаще сна.

* *

Огромный город.

Чужой и злой.

Сидит на совке

человек с метлой.

Мотала,

водила судьба впотьмах
и вот посадила
с метлой в руках.

А время летит,
закусив удила.
Зима миновала,
весна пришла,
бродит Москвою
из края в край
теплый,
безветренный месяц май.
Дворник в Москве —
невысокий чин.
Особо довольствоваться —
нет причин.
Выметешь, выскоблишь раз до пяти,
глянешь назад —
и опять мети.
Сидит человек
на совке с метлой,
сидит,
будто город смахнул полкой:
не видит,
не слышит вокруг ничего —
острая пруть доняла его.
Кто он? И что он?
Бобыль? Босьяк?
Всяко выходит:
и так и сяк.
Пойди плутать
по Москве по всей —
нет ни товарищей,
ни друзей.
Кто же всё-таки есть на земле?
Мать?..
Но она далеко; на селе.
Сестры?
Уже подросли, небось...
Тоже по людям
и тоже врозь.

Отца погубило совсем вино,
нет из деревни
 вестей давно.
Куда пойти?
 На какой улов?
С кем перекинуться парой слов?
Вот он потрянул головою, встал.
Сложенный вдвое
 листок достал.
И вдруг улыбнулся. Давным-давно
парню
 не было так смешно.
Сколько он раз
 по складам читал
этот листок
 и обратно клал!
Держал в сундучке,
 в картузе носил,
а вот потерять
 нехватило сил.
Всё колебался,
 не слал письма,
попусту только сходил с ума.
Без толку, как говорят,
 без пути...
А что бы решиться туда пойти!

* . *

Вот он, вот он,
 знакомый дом
за бульварами,
 над прудом!
Что-то замер собачий лай...
Не гадай, Александр, валяй!
Ближе
 к каменным воротам —
что приметно, что видно там?

Затрудненье невелико:
ты узнаешь ее легко
по прошивкам на рукавах,
по переднику
 в кружевах.
Не теряйся
 и не моргай,
как увидишь —
 так окликай.
Тихо, тихо,
 не тронь засов,
не вспугни
 оголтелых псов,
осторожно,
 едва дыша,
не волнуясь и не спеша.
Вот он, вот он,
 знакомый дом
за бульварами,
 над прудом!
Вот он, вот он,
 знакомый двор —
не забыл его до сих пор.
В легких шлепанцах
 и в чепце
дремлет барыня на крыльце.
Рядом с нею,
 совсем вблизи,
забинтованная Зизи.
Кто-то из дому
 вышел в сад,
Кто-то в дом
 поспешил назад...
Вот он, вот он,
 мелькнул льняной,
белый фартучек кружевной.
— Настя! Настенька!



(Ну, дела,
обернулась, не поняла...)
— Настя! Настенька!
 (Поняла!
Вся зарделася, подошла.)
— Ты чего?
— Да я, вишь, того...
— Ты зачем?
— Да я, вишь, затем.
Толку мало при воровстве.
— Ты к кому?!
— Как к кому? К тебе!

* * *

Весь в смятеньи
 воскресный день.
Всё, что лучшее есть, —
 надень.
Всё, что добыл
 и приберег —
подбоченься —
 и за порог!

С первым
утренним ветерком
до Сокольников
прямиком

тащат конку

две лошаденки.

(Лучше б было дойти пешком!)

Ах, Сокольники вы мои!

Куст черемухи у скамьи.

Ах, назначенный в первый раз
дорогого свиданья час!

Дальше!

В самую глушь стволов.

Там, где

тонкая трель щеглов.

В поднебесье

уходит бор.

Смех...

Гармоники пересбор.

Дальше! Дальше!

Вон к той сосне,

разметавшейся,

как во сне,

встречным парам наперекор,

вдоль по просеке,

на бугор.

Под сосною

табачный лист

мнет напудренный гимназист:

— Место занято...

Так что шиш!

— Нет уж, барин,

не с тем шалишь!

— Вы нахальничать?

Я готов!

— Хватит, барин, на всех местов...



— Не для ваших ли
милых дам?

— Убирайся...

а то как дам . —

Вот и Настя.

Пробор косою,
принаряженная, с косою,
полушалочек нараспах —
весь в горошинах и цветах.

За версту

красоту видать.

Городская

у Насти стать,

затаенный,

лукавый взор,

с подковыркою разговор:

«Не хотите ль конфет, мусье,
называются...

«монпасье»?!

Под ресницами —

хитрый свет:

дожидается,
 что в ответ.
Только хитрости тут на грош,
Алексашку
 не обойдешь:
— Отчего же...
 всегда готов,
не едал...
 вот уж сто годов! —
Алексашка не то слышал:
сразу действует
 наповал:
— А хотите... взамен «эклер»?!
— Ух ты! Тоже мне... кавалер!
Как приятно
 глядеть вдвоем
в серебрящийся
 водоем,
слушать
 медленную струю
у песчаника на краю!
Ой, как боязно
 и смешно
забираться в овраг, на дно,
запутаться,
 упасть в траву,
громко-громко
 кричать: «Ау!»
Как забавно
 без цели вдруг
вырываться из крепких рук,
в росах
 вымокнуть до колен
и опять попадаться в плен.
— Скажи, Настюша,
 с тех самых пор,

когда я в окошко
махнул, как вор,
меня ты в памяти берегла?
Ждала ты меня или нет?..
— Ждала!—
Ой, Сокольники вы мои!
Куст черемухи у скамьи,
легкий шелест
весенних струй
и нечаянный поцелуй.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Закрой, завесь,
наложи запрет —
для юности в мире запретов нет.
Жадное ухо
и глаз-дальномет
все одолеет,
увидит, поймет.
Попробуй,
юность одень в тряпье —
всё равно
не отыщешь прекрасней ее.
Книг лиши,
отбери тетрадь —
по вывескам выучится читать.
Тем яростней юность,
упорней, верней,
чем больше нежданных
преград перед ней.

* * *

Устал Александр
в услуженьи жить,
третью весну
по дворам кружить

То подметаельщик,
а то коновод —
решил
пристроиться на завод.
Еще на заре
собирался народ
возле тяжелых литых ворот.
Кто в опорках,
а кто в лаптях,
сотни заплат
на худых локтях.
Подрядчик что-то не шел.
Толпа
стояла, безропотна и тупа.
Метнул Алексашка
пятак со зла:
«решку» ждатель?
или ждатель «орла»?
Неужто по людям ходить ояг
...Эх, найти бы
тысченок пять!
Купить бы дом, завести собак,
позвать бы Настю,
сказать: «Ну, как?»
Дивится Настя!
Глядит, робка,
откуда дом
у ее дружка?
А он хоть бы что!
Голенища — хром,
ведет подругу
в просторный дом,
подносит ей там
кружевной наряд...
Дивится Настя.
Глаза горяг

Открыл Александр
 потайной ларец:
сколько там бус,
 дорогих колец!
Сыплются к Насте
 со всех концов
реки орехов
 и леденцов...
Дивится девица,
 дружку в ответ
пылают щеки,
 как маков цвет.
Стоит дружок —
 ноги рвутся в пляс,
прищурил карий
 довольный глаз:
«Вам владей,
 весела бывай,
только люби
 и не забывай!»
Метнул Алексашка
 пятак со зла:
«решку» ждать?
 или ждать «орла»?
Выходит «решка» —
 плохая весть...
Подрядчик крикнул:
 — Котельщик есть?
Молчит народ.
 Онемел народ,
словно паклей
 забило рот.
Работа рядом —
 чего гадать?
А котельщика не видать.
Алексашка подумал:
 «Была не была!»

Метнул пятак — увидал «орла»,
зажал монету в руке
плашмя
и крикнул подрядчику громко:
— Я!!
— Ты? — удивился подрядчик. —
Вишь,
какая птица, мочена мышь!..—
Завистливым взглядом
на этот раз
его проводили десятки глаз.

* * *

Привели молодчика,
как на грех,
на испытанье
в котельный цех.
Старший мастер,
Данил Пучков,
глянул на парня из-под очков:
— Не знаю,
какой тебя ляд прижал,
но, вижу, зубила ты не держал.
А вот характер мне твой по плечу...
Я тебя, сокол мой, научу!
Как тебя звать-то?
— Лександр пока.
— Ну-ка, Лександр,
подставляй бока!—
Черен и дымен котельный цех.
Катит по рельсам
железный смех,
бродят огромные,
как дома,
с цепи сорвавшиеся грома.
Красною тучею
над плышет,



длинных молний
 кривой полет.
Удар за ударом,
 и вновь удар.
Рвется наружу
 горячий пар.
С присвистом лезет,
 бог весть куда,
в трубы посаженная вода.
Снует, хлопочет рабочий люд,
струи пота
 по лицам льют.
За пять минут
 от подобных дел
Александр,
 как на пахоте, пропотел.
На каждый взятый
 заказ-подряд —
труда
 двенадцать часов подряд.

Бей, не жалей,
 добывай денъжат,
покуда поджилки не задрожат.
В первый же день
 Александр узнал,
где и какой
 соблюдать накал,
как выводить
 по листу вперед
жарких заклепок
 прямой черед.
Где хитрецей,
 где умом проник...
— И впрямь мастак,
 а не ученик!—
шутил Данил. —
 Золота рука —
Но тут загремел
 долгий бас гудка.
Смена кончалась.
 Густой толпой
народ повалил, как на водопой
Однако
 спешка была ни к чему:
в проходе
 обыскивали по-одному.
Люди шли к выходной рядком
и повертывались кругом,
правой рукой отдирали зло
к телу
 прилипшее барахло.
Женщины взвизгивали,
 с трудом
борясь с подступающим вдруг стыдом.
Розовый сторож почтенных лет,
как граммофон,
 хохотал им вслед.



Александр

очутился у проходной,
мрачный,

с опущенной головой.

— Чего стоишь? .

Чай, не из дворян,—

давай, поворачивайся, баран!

— Я еще сроду не крал... Холуй!

Так что ты со мной

не балуй!—

Рванул рубаху,

крепясь едва,

так что сча раздалась вдоль шва.

— Экой... Какой ты!—

баском грудным

сказал Данил, поровнявшись с ним.—

Нашел, где топыриться поперек,

ты бы силенку-то

поберег...

Поньем-ка лучше

чайку вдвоем.

— А где же пить?
— У меня...
— Пойдем!

* * *

Зайдя к Даниле
«попить чайку»,
Александр
не перечил уже старику.
Сбегал за сеном
на сеновал,
снял сапоги
и заночевал.
Утром проснулся —
гудок зовет.
Сено — под лавку,
и — на завод.
Вечером снова пришли вдвоем
да так и зажили
день за днем.
Работа вместе
и кров один —
любо смотреть:
как отец и сын.
Отвык Алексашка
давным-давно
бегать в лавку,
варить пшено.
Пусто и хмуро
жизнь текло,
а тут вдруг стало
тепло-тепло.
Придет свободный денек,
Данил,
смотришь, уж чайничек вскипятит.
Характер ласковый
и прямой.

— Проспишь свиданье-то,
сокол мой!—
Такой разговорчивый старикан,—
моет ли
в теплой воде стакан,
трубку ли тянет,
сидит ли ест,—
всё дознается:
с каких, мол, мест?
много ль батрачил?
с каких годов?
много ли было
в семействе ртов?
Вынь из души
да на стол положи,
что позабылось —
и то Расскажи.
— Всё любопытствуешь...
А к чему?—
Сказал как-то раз Александр ему.
И тут Данил,
не допив глотка,
можно сказать,
подкосил дружка.
Двери прикрыл,
повернул поднос
и строгим шопотом произнес:
— А все к тому, соколинка моя,
что сроду
Данилом-то не был я...
Я Афанасий!
А братец твой
вместе со мною
ходил в забой,
вместе страдали...—
Припав к стене,

Застыл Александр,
как в тяжелом сне.
Детством пахнуло
со всех углов,
в горле першило
от этих слов.
— Дядя Данила!.. а дядь Данил
Я ведь брагишку-то схоронил...
— Знаю...
А ты не шуми, не того...
Время настало отмстить за него!
Допил стакан,
сполоснул в тазу
и тихо добавил,
смахнув слезу:
— Вот и выходит,
соколик мой,
путь-то у всех нас один,
прямой!

* *

Близилась троица.
Шумом затей
приветствовал тронцу богатей.
Здорово,
стало быть, был грешон,
коль не жалел
никаких мошон.
Жиром лоснился
Охотный ряд,
в рыбьем духу
и в пуху курят.
Млели купчины,
воздав хвалу
Параскеве-Пятнице
на углу.

Настина барыня,
как могла,
все свои комнаты
убрала.
Шелест березок
и алых роз...

А вихрь забастовок
крепчал и рос.
Биржа труда,
как ночлежный дом,
опять превратилась
в сплошной содом.
Пешие, пыльные,
каждый день
люди валили из деревень.
Время весенних работ прошло.
Солнышко жарило и пекло.
Алексахка с получкой пришел домой
неразговорчивый,
как немой.
— Что, маловато?—
сказал Данил.—
Может, на улице обронил?
— Да мне-то что!
Я и так ходок,
хотел в деревню послать чуток...
— В троицу, сокол мой,
нет обид.
А кто же престолу-то пособит?
Отцу-царю
двадцать пять полтин,
да наследнику-сыну один алтын,
да министрам царя,
считай, четвертак.
А тебе зачем?
Ты богат и так!

Эх, Соколыники вы мои!
 Куст черемухи у скамьи.
 Только нету
 на этот раз
 длинных кос
 и лукавых глаз.
 Вместо Насти,
 к сосне, во тьму,
 собираются по-одному
 люди в кепках
 и в картузах,
 в черных стоптанных сапогах.
 Всё свои.
 Весь котельный цех.
 Алексашка их знает всех.
 Для близира несут гармонь —
 дескать,
 без толку нас не тронь!
 В четырех боевых местах —
 восемь стёганок на часах,
 Алексашка и сам стоит, —
 с перепояю, мол,
 этот вид.
 Разлохматился,
 куртку снял,
 что ж, мол, сделаешь
 загулял!
 Зорко смотрит
 мастеровой.
 не мелькнет ли
 городовой?
 ...Ох, уж этот
 троицын день!
 Раздобыть бы себе кистень
 да, ни слова
 не говоря,



протолкаться бы до царя.
«Что ж, мол,
 батюшка-государь,
или надобно вам фонарь?
Иль ослепли вы:
 с малых лет
ведь житья-то
 народу нет!
Люди бедствуют,
 люди мрут,
у людей —
 непосильный труд.
Погибают
 по кабакам,
по подвалам
 и чердакам.
Нету просвету
 для людей,
нету хлеба для их детей.
Только каторга
 да тюрьма,

только нищенство да сума.

Я вас

попусту не корю:
я вам правильно говорю,
что ослепли вы:

с малых лет
ведь житья-то рабочим нет.
Хоть, к примеру, возьмем меня:
не припомню светлого дня —
с девяти годов в батраках,
с подайным рублем в руках.
Как же смотрите вы,

когда
рядом здравствуют господа,
забавляются меж собой,
отжираются на убой?

Почему

мой родной отец
раньше времени не жилец?
Отчего же,

жизнью не рад,
удавился
старшой мой брат?

Что ж вы,

батюшка-государь,
в горностаевой шубе тварь,
в золоченой короне зверь,
не ответите мне теперь?!»
Тут, наверно, сказал бы царь:
«Разошелся!

Попробуй вдарь!»
Эх, ни слова б не говоря,
взять и вдарить того царя!..
Замечтался...

Куда хватил!
Вот пришел, наконец, Данил:

— Ну, пора начинать, кажись?

Собралися все?

— Собрались! —

До предела напряжена,
пахнет

зеленью тишина,
расколовшеюся, сырой.
терпкой

осиновой корой.

Редко-редко

издалека

долетит пережат гудка —
тело длинное распластав,
пассажирский пройдет состав.

Оглянулся Данил, привстал:

— Ну, товарищи,
час настал.

(Сжата до боли ладонь в кулак,
грозного чувства

суровый знак.)

Москва в огне!

С Воробьевых гор,
с Москва-реки

вот до этих пор.

Огня не загасишь,

хоть лей, не лей...

Фабрика Цинделя и Бромлей,
заводы Кейгер и Людвиг Смит —
народ недовольствуется и шумит.

Хватит слушать

по сторонам,

Все бастуют,

пора и нам!

У всех, у нас

один разговор —
кончай работу

и марш во двор.

Будьте, товарищи, на-чеку,
завтра, товарищи, по гудку!—

До предела напряжена,
пахнет

зеленую тишина.

Хоронясь за листвою,

во тьму

люди расходятся по одному.

Люди в кепках

и в картузах,

в черных

стоптанных сапогах.

Все свои,

весь котельный цех.

Алексашка их знает всех.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Юность!

Она, как мечты разворот,
как стебель,

который мороз не берет.

Согни в три дуги, —

как певунья-струна,

воспрянет и выпрямится она.

Запри на десять

глухих замков —

нет для неё никаких оков.

За десять решеток

ее посади —

решетки останутся позади.

И снова юность

пойдет, честна,

всепобеждающая,

как весна.



Вперед,
 дорогою заревою
навстречу радуге дождевой.

* * *

День забастовки настал.
С утра
чернорабочие и мастера,
уже ничего не желая скрывать,
сошлись у конторы митинговать.
Гроза нарастала сама собой,
глухо и сдержанно, как прибой.
Еще не веря
 своим глазам,
управляющий вышел сам:
— Кто просил, интересно, вас
ко мне являться
 в рабочий час? —
Данил возник,
 как из-под земли:

— Никто не просил!
От себя пришли! —
Достаточно было ответить так,
чтоб тут же немедленно вырос бак,
на нем,
опрокинутом кверху дном, —
парень в ватнике продувном.
— Зря, господин управляющий, зря
волнуетесь, собственно говоря:
неинтересно нам,
кто нас звал,
интересно,
кто нас обворовал!
Гневно и весело,
парню вслед,
толпа подхватила
прямой ответ:
— Расценки набавь!
— Почини жильё!
— Робы нет,
извелось бельё!
— Потом разберемся, кто будет прав,
сперва отмени понедельный штраф!
— Да что с ним балясничать...
— Дармово!
— Давай хозяина самого!
Захлопнулись,
грохая и дрожа,
окна конторского этажа.
Многоголос,
многорук,
упрям,
народ подался к входным дверям.
Управляющий вздрогнул
и оробел.
Стоит,
молчит, безъязык и бел.



Вместо него вдруг заговорил
старший табельщик Гавриил,
как всегда, юродствуя
и визжа

(известная гадина и ханжа):

— Господа рабочие!

Ерунда-с!

Конечно, всем нам хозяин даст.

Одну секундочку, господа,

вон он... как будто

идет сюда!

Идет, кормилец наш, голубок... —

Сотни голов повернулись вбок.

И верно —

стремительны и легки,

цокали звонкие каблуки,

Но шел не хозяин, фон Беренбах,

а пристав

в лаковых сапогах.

За приставом
топал, как на парад,
— усиленный
полицейский наряд.
Гладкие,
рослые, как каланчи,
шли жандармские усачи.
Наступило безмолвие.
С давних пор
не слышал
безмолвья такого двор.
Наконец пригнувшийся, словно рысь,
пристав выкрикнул:
— Р-р-разойдись! —
И вновь безмолвье.
И вновь покой.
Лишь редкого кашля порыв сухой...
— Разойдись, говорю! —
Кобурой скрипя,
рявкнул пристав,
уже хрипя.
И вдруг
неожиданно поперек —
Алексашкин шелковый тенорок:
— За свой стоим,
за рабочий грош!
Мы не скотина,
чего орешь?.. —
Пристав, словно сглотнув репей,
шопотом подал команду:
— Бей! —
Но люди — похлеще видали дела,
рабочих оторопь не взяла,
а кто попроворней и половчей,
тот первый ударил на усачей.
Но тут,
заглушая возню и рык,



«Казачи!» — чей-то раздался крик.
Стало понятно:

пришла беда.

Рабочие бросились,
кто куда.

Самой надежной из тайных нор
считался

запущенный задний двор,
там, где лежали на полверсты
железные ломаные листы.

Алексашка уже подбежал к листам.

Осталось только вскочить, —
и там!..

Вскочил.

Оглянулся. А позади
с крестами-медалями на груди
(толстая выя, видать, силач)

насел на Данилу лихой усач.
Алексашка с разбега и сгоряча
верхом

уселся

на усача.

— Беги, Данила!.. —

Но в этот миг,

откуда-то издали, напрямик
вломилась в самую глубь двора
рыжая, скачущая гора.

Сытый и цветом — сплошной огонь,
сбил Алексашку казацкий конь.

Сграбастали парня
с сырой земли,
скрутили руки
и повели.

* * *

В каждом участке —
свой каземат;

густо висит
полицейский мат;

свадьбы мокриц,
да угар свечей,

да ржавый,
простуженный стон ключей.

Сколько часов
в пустоте легло?

Всё туманом заволокло.

Сутки одни?

Или целый год?

Сбился времени ровный ход.

Страшно сидеть
одному, натошак,

ноги вытянув на дощак.

Ни капли хоть бы сырой воды.

Ни крохи хоть бы сухой еды.

Гошнит и тянет,
мутит и вертит.
Хуже раны и злее смерти.
«Ну, — решили, — дозрел, дорос!»
На пятые —

вывели на допрос.
Полицейский следователь сидел,
тихо склонившись над кипой дел,
тонкою ленточкой перевитых,
розовый, в зайчиках золотых.
Квас в графине... халва... табак.
— Садитесь!

Ваша фамилия как? —
(Вот они, стражники, каковы,
дожил, значит, зовут на «вы»!)
Алексашка,

еще не теряя сил,
сразу начальника раскусил:
уж больно вежлив,
добра, поди,
от этой вежливости не жди.

— Фамилья моя Черенок...

— А звать?..

— А звать Александром.

— А величать?

— А величать по отцу Кузьмич...

Смотрит следователь, как сын:

— Тяжело мне за вас, дорогой,
тяжело...

Что же вас к этому привело?

Ведь горя-то в жизни
хоть пруд пруди.

А вы еще молоды,
всё впереди...—

Ласков и тонок,
как волосок,
хриплый и вкрадчивый голосок

— Кто подбивал вас,
 смутьянить звал?
— Никто меня сроду не подбивал!
— Я, Александр Кузьмич, не пойму:
зачем упираетесь
 и к чему?

(Налил в стакан и придвинул квас.)
Короче: зачинщиком кто у вас? —
Вертит и мутит,
 мутит и вертит.

Хуже раны
 и злее смерти.

Близко, напротив, у самых глаз
стоит студеньи пахучий квас.
Спутался мыслей дурной поток:
взять отхлебнуть хоть один глоток?
Стать худоумным?

Упасть ничком?

Или прикинуться простачком?
— И так, значит, сведений ты не дашь?
— Все побежали... и я туда ж! —

Всё было кончено.

Будто мел,
побелел начальник
 и помутнел:

— Не с этой карты пошел на туза! —
И —

 выплеснул квас Александру в глаза.
Как по сигналу,
 из-за стены
вспыхнули желтые галуны —
двое конвойных,
 два вахлака,
четыре надраенных кулака.
Алексашка не чувствовал, как потом
его избивали. С зажатым ртом

очнулся он после уже,
в углу,
в общей камере на полу.

* * *

Настя! Настенька!

За спиной
полушалочек раскидной...
Не тянули тебя силком,
ты сама пришла с узелком.
Ты сама пришла,

ты сама
чуть в тоске
не сошла с ума.

Потеряв над собою власть,
истомилась и извелась.

Ты опомниться не могла,
как разлука жестка и зла.

Ни до сна тебе,
ни до дел —

мир померк
и осиротел...

Только что это? Посмотри:
заключенные ждут внутри,
а его провели тайком
мимо стражника напрямиком.
Значит, приговор?

Без суда?!

Нет, не то...

Он идет сюда...
Как он сгорбился,
как погас
милый блеск его жарих глаз!

— Саня!

— Настенька, это ты?

(Дорогого лица черты,
нету живости в них следа.)

— Отпустили на волю?

— Да...

Ослепителен говор дня:

воробьиная стрекотня

и знакомый,

почти до слез,

запах пыли

и стук колес.

Как стремительно льют лучи —

попытайся-ка отличи,

то ли облако в небесах,

то ли солнце на парусах?

Как от радости разберешь:

то ли это в коленке дрожь,

то ли гнется, у ног пыля,

под ногами сама земля?

— Настя!

— Саня... Да ты хромой!

Осторожней, любимый мой... —

Мимо газовых фонарей,

на скамейку скорей, скорей.

— Ах, ты горе мое... Напасть...

(Не споткнуться бы, не упасть.)

— Сядем, Настенька! (Два глотка
кипяченого молока...)

— Мало, мало... Еще, еще!

Ой, как ломит

и жжет плечо! —

Смотрит Настя во все глаза,

по щеке поползла слеза.

Разорвала цветной платок,

обвязала кровоподтек...

— Саня, били тебя, небось?

— Били, Настя...

Но ты не бойсь!



— А Данила-то... Уцелел?

— Цел Данила,
да заболел...

— Ну, скажи мне, скажи, молю:
Любишь, Настя, меня?

— Люблю! —

От бульвара невядалеке
стонет голубь на косяке,
то рыдая, а то трубя...

— Крепко любишь?

— Крепчей себя... —

Голос нежен, но речь тверда.

— Долго будешь любить?

— Всегда!

— Я ведь, Настя, теперь такой:
до острога подать рукой.

Не боишься?

— Не побоюсь!

— Поклянися тогда!

— Клянусь! —

Разве может пресечь недуг
двух сердец торопливый стук?
Разве можно согласия нить
разорвать и разъединить?

Если радуются враги —
пережди и превозмоги.

Через камни,

сквозь темень, в брод, —
не сдавайся —

иди вперед.

Зубы сжав,
губу прикусив, —
не сдавайся!

Глаза протри
и на солнышко посмотри!
Вон как тополь шумит сквозной,
окаймленный голубизной.

Вон как ветер в листве гудёт...

А удача, она придет.



В ЛЕСАХ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

С густо-багровым закатом сходен,
горьким дымком потянул горизонт...
Вызвали. Спешно сказали: «Годен!»
И через месяц —
 в вагон, на фронт.
Дамы с левкоями.
 Всхлип гармонн.
Гром котелков.
 Стукотня сапог.
Старушка какая-то на перроне,
шопот молитвенный: «С нами бог».
Данил, проводивший немым поклоном,
словно замкнутый на засов.

И Настя, бегущая за вагоном
и где-то отставшая у часов.

И дальше —

депо,
семафор с флажками,
шлагбаумы,
будочки, леса.

Пока не простерлась под сапогами
земли прикарпатская полоса.

...Мало чего сохранила память:
взрывы...

Конный австрийский строй,
прямо на пули летящий внамять,
да воздух отравленный и сырой.

А после уже —

не поднять ресницы.
Озноб, горячка,
трехдневный бред,
неодолимая боль в пояснице
и тихий до ужаса лазарет.

* *

Кудрявый, бледнолицый,
один, пешком,
шел солдат с позиций
в тени, тайком.

Шел речкою и скатом,
и вдоль леска.

И рядышком с солдатом
брела тоска.

Нельзя глядеть без боли,
(прошел бы, слеп!)

непаханное поле,
не убран хлеб.

Стоят у переправы
который год
нескошенные травы —

зарезан скот.
Откуда по низовью
стоит вода?
То, видно, слезы вдовьи
стеклись сюда?
Промоины, ухабы,
да костяки.
Навстречу только бабы
да старики:
— Не слышал ли, солдатик,
братка моего?
— Не видел ли, солдатик,
сынка моего?
— Не встретил ли, солдатик,
дружка моего?
Жив ли он, касатик,
аль нет его?
— Скажи, скажи, служивый,
любезен будь,
куда же ты, служивый,
свой держишь путь?
— Скажи, скажи, солдатик,
до коих пор
терпеть нужду, солдатик,
нужду и мор?
— За что, за что горюем,
скажи, скажи?
За что, за что воюем,
скажи, скажи?
— Еще скажи, солдатик,
с каких ты мест?
За что тебе, солдатик,
надели крест?! —
Пригубив ковш с водою,
достав кiset,
служивый чередою
давал ответ:

— Слышал, слышал я, малый,
братка твоего.
Солдат он был удалый,
да нет его.
Видал, видал я, девка,
видал дружка,
да кончился он, девка,
от сыпняка.
А я скажу, изведав,
воюем зря:
за разных мироедов
да за царя.
Германца бить, конечно,
всегда резон.
Но враг-то наш, выходит,
не только он.
Германца мы раздавим!
Не побежим!
Да только надо, бабы,
менять режим.
А то, прямой скажу я,
бои пройдут. —
Опять зажмут буржуи
рабочий люд.
Терпеть от них мы будем
до той поры,
покуда не рассудим —
да в тѳпоры!
А топаю в Москву я,
войну клянусь,
чтоб новую, другую
начать войну! —
Поведал, отряхнулся,
дымок пустил,
к дороге повернулся,
и след простыл.
Обходит куст служивый

да мнет траву,
идет, идет служивый,
идет в Москву.
То речкою, то скатом,
то вдоль леска.
И рядышком с солдатом
бредет тоска.

* * *

Нету поддержки казенной преграде,
нету замков для народной молвы:
всё, что вершится в самом Петрограде, —
ветром доносится до Москвы.
Рваный пиджак, кацавейка и китель.
И вот вам уже разговор у крыльца:
— Слышали... Керенский?
— Тоже... Правитель!
В бабьих чулках убежал из дворца! —
Толпа разрастается.
— Батюшки-светы!
Отколь это их на крыльцо натекло?
— Власть, говорят, уже взяли советы...
— Господи, боже мой!
— Что? Припекло?
— Всё это только лишь слухи и слухи,
толку не вижу я в этих речах!
— А ты бы цепочку-то спрятал на брюхе,
вишь, как расперло на наших харчах!
— Гроб буржуям!
— А нельзя ли без крика?
— Теперь, брат, не больно возьмешь
под конвой!
— Раненько хоронишь! А ну, повтори-ка...
— Да нас не спужаешь!
Мы с головой! —
Утром еще зажигали лампы,
болтали и жили нуждою мирской,

а вечером —

встали уже баррикады
подле Садовой
и вдоль по Тверской.

Купецкая,

волчья Москва не сдавалась.
В наемные банды деньгу обратив,
белея от злобы, она отгрызалась,
рычала и выла, судьбе супротив.
Всё потемнело —

бульвары и скверы,
лабазы и церкви,
и мост над рекой.

С одной стороны,—
юнкера и эсеры,
солдаты и сотни рабочих —
с другой.

И надо же было, чтоб этой неделей,
заброшен войною почти за предел,
кудрявый солдатик в помятой шинели
с далекого фронта сюда подоспел!

* * *

В Москву Александр прикатил
на рассвете.

Тревожной и хмурой застал он Москву.
Не верил солдат, что события эти
его окружали уже наяву.

Вот оно где начиналося, счастье!
Первым желанием было — скорей
найти и увидеть Данилу и Настю.
Но где?

У каких неизвестных дверей?
Пойти к Патриаршим?

Но после восстанья
едва ли у барыни Настя живет.
Свернуть на Лесную, где были собранья?



Нет, лучше, пожалуй, пойти на завод.
Укрытый шинелью и утренней дымкой,
с оглядкой минуя любой поворот,
сторожко и тихо, почти невидимкой
дошел Александр до знакомых ворот.
Ни лязга, ни грома котельного цеха,
ни жидкого дыма высокой трубы.
Лишь галочий спор
да короткое эхо
начавшейся вдруг отдаленной стрельбы.
Откуда летел этот отзвук-задира,
с какой стороны этих залпов обвал?
...У Марьиной Роши,
напротив трактира,
кадетский патруль Александра догнал.
Храпит под румяным юнцом вороная.
Надулся юнец:
— Где изволил бывать?!
— С войны... на побывку...

— А где отпускная?
— Не верите, что ли?
— Арестовать! —

Кокарда,

Георгий,

погоны с дырою,
но всё-таки что-то герой не того...
Прижали к стене,
обыскали героя
и молча погнали к Бутыркам его.

. . .

А залпы крепчали, как свежие вести.
И поднял солдат и прикинул в уме,
что лучше уж быть пораженным на месте
чем в эти часы оказаться в тюрьме.
Чего дожидаться?

На голой панели
лишь поздней капли немой перебор...
Рывком

отделившись
от влажной шинели,
с разбега
махнул Александр за забор!
По стенке,
за каменный дом,
за деревья.

(Пока там кадеты ударятся в сад!)
Без страха!

Как в детстве, бывало, в деревне, —
бежать, что есть духу,
не глядя назад!

Отстали, отстали юнцы!

За ветрами,
за мелким дождем заблудился свинец.
Глухой стороной,
проходными дворами



к Садовой пробился чернявый беглец.
Стрельба уже шла где-то под боком, рядом.
В укрытых местах завязались бои.
На риск подбежал Александр к баррикадам
не зная еще, где лежали свои.
Столы на дыбах...

Переборки...

Перила...

Бочата с песком...

Подставные леса...

И тут-то судьба Александру открыла,
что все-таки есть на земле чудеса.

Ветром гонимый

и гневом влекомый,

замер солдат

за колонкой с водой:

чей это, чей это образ знакомый,

кто это бравый такой и седой?

Следя, как уходит заряд за зарядом, —

Данилу узнал Александр в старике.

Данила лежал с пулеметчиком рядом

с большим вороным
пистолетом в руке.

Миг —

и друзья обнялись, как родные.
Вспыхнул людским ликованием редут,
мечутся отблески огневые,
пули свистят, и улыбки цветут.
Пули,

однако,
всё чаще и чаще.

Голос их тонок,

и путь их упрям.

Видно сквозь дождика мелкую чашу —
сбоку подмога пришла к юнкерам.

Трудно усилить огонь обороны,
гаснет огонь, как его ни крепи, —
нечем стрелять, иссякают патроны,
холод тревоги прошел по цепи.

Встал Александр на перила ногами.

Голос солдата свивается в жгут:

— «Вихри враждебные веют над нами,
темные силы нас злобно гнетут!»

Дружно, товарищи!.. —

Грянула песня,

а с песней — и пули врагов нипочем.

Город услышал!

Откликнулась Пресня.

Бей их камнями!

Глуши кирпичом.

Поднял Данило кровавое знамя:

— Лучше умрем,

чем отступимся тут! —

«В бой роковой мы вступили с врагами.
нас еще судьбы безвестные ждут!..»

Вот они, как подались, юнкера-то.

Бей их прикладом!

Свисти им вдогон!

Крой их штыками!

Круши их гранатой!

Гни их к земле за кадетский погон!

— Дружно, товарищи! Весело, братцы!

Пейте, кадетики, краску-кармин!

Что теперь скажут охотнорядцы?

О ком у заутрени справят помин?

Пóжили! Хватит!

Из тонкой посуды

попили, выпили кровушки всласть!

С гордой душой на десятые сутки
город приветствовал красную власть.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Расправила только республика плечи —
грозя изнутри, на границы нажав,
пошла на республику

белая нечисть

и жадная знать

иностранных держав.

Едва только вольное знамя простерло
над гордой землей

молодые крыла, —

схватили республику нашу за горло
голод и холод,

разруха и мгла.

Угрюмая даль помутневшего неба,
безмолвье в цехах.

и вода в рудниках,

осьмушка махорки

и черствого хлеба,

тревога в душе

и винтовка в руках.

— Ты покрепче мне, подруга,
завари прощальный чай.
Расставаясь, на супруга
ты, подруга, не серчай!
Вспомни, вспомни,
дорогая,
подмосковную луну,
запах сосен, ветер мая
у Сокольников в плену.
Первый камешек неровный,
первый лепет:

«Не балуй!»

Первый шопот любовный,
первый

робкий поцелуй.

Не серчай,

что за признанья

мало я благодарил,

что одни лишь

расставанья

я тебе в ответ дарил.

Выйдет время,

стихнет ветер,

отгремит последний бой, —

ни за что тогда на свете

не расстанемся с тобой.

Ни другой

и не другая

нам не встанут на пути..:

Вспомни клятвы,

дорогая,

обними —

и отпусти!

— Сядь ко мне, мой друг,

поближе,

на любовь свою взгляни.
Подойди же,
 подойди же,
ухо к сердцу прислони.
Трудно, трудно разлучиться,
коль под сердцем
 третью ночь
кто-то крохотный стучится, —
может, сын,
 а может, дочь.
Трудно, трудно
 слово вставить,
дескать, «милый, ничего», —
очень хочется оставить
рядом
 друга своего.
Я не плачу и не ною,
Темнота стоит у глаз...
Только ты не спорь со мною —
тяжело
 на этот раз! —
Тяжко там или не тяжко —
приготовлен сундучок:
соль, подштанники,
 рубашка,
пять осьмух махорки,
 фляжка —
все закрыто на крючок:
Новый ватничек нарядный,
шапка в кольца завита.
Прикорнул
 семизарядный
под ремнем,
 у живота.
Не крестьянин,
 не рабочий,

не матрос
и не солдат.
Только в шапке,
между прочим,
под сатин зашит мандат.
«Настоящий,
дескать,
выдан
Александрю Черенку,
под секретным строгим видом,
как бойцу-большевику.
Направленья —
область тыла
адмирала Колчака».
В уголке
печать застыла,
у мандата власть и сила,
получал его в Це Ка.
Боевое порученье
парень
помнит
глубоко,
только
к месту назначенья
добираться нелегко.
До Урала, что ни вежа, —
то и высадка,
смотри.
Надо две недели
ехать,
а не то —
недели три.
С перегрузкой
катит тара
в направленьи
на восток.

Ой, Самара,
ты Самара —
отдаленный городок!

* * *

Места,
где прошли твои детские годы,
у речки,
в степи за селом —
хранятся в душе,
несмотря на невзгоды,
с особым сердечным теплом.

Места,
где упрямая жизнь начиналась, —
всегда остаются близки,
всегда
вызывают какую-то жалость
и сладкое чувство тоски.
Ты вновь очутился на родине!
Дѣма!

Здесь —
каждая стѣжка твоя.
Всѣ тянет и манит,
до боли знакомо,
давнишний секрет затая.
Вон,
так же как прежде,
сосна-недотрога
несет у дороги дозор.
За этой сосною взбегает дорога
на сизый полынный бутор.
По этой же самой дороге
когда-то
в худом зипунке,
с батожком,
проезжих людей сторонясь виновато,
спешил батрачонок пешком.

Вон ветхие крылья свои молчаливо
раскинул
 горбатый ветряк.
Качаются ветлы
 внизу у залива,
шумит молодой березняк.
А вон и кладбищенский клен знамениты
печали немой поводырь.
Под ним распластался
 безмолвьем покрытый
и выжженный солнцем пустырь.
Как трудно дается она пешеходу,
пустынная эта верста!
Когда бы не память, —
 не выискать сроду
два бедных, угрюмых креста.
Один из них —
 взбалмошным ветром уронен,
другой —
 по плечо аккурат.
Вот здесь,
 по приметам,
 отец похоронен,
а тут —
 успокоился брат!
Что ж!
 Пешеходу скорбеть не впервые.
Слезу, Александр, удержи.
Тысячелистника
 стебли прямые
на оба холма положи.
Вздохни.
 Распряись.
 Распряясь, послушай,
как сердце стучится в груди,
и с легкой мечтой, согревающей душу
с печального места уйди.

Осталось немного:
 пройти, огибая
сведенные в копны хлеба,
а там уже видно,
 как, пятая с края,
стоит мазануха-изба.
Здесь тоже прошло огневое бучало,
здесь только что кончился бой.
Ой, парень!

 Кто встретит тебя для начала?
Казачий разъезд
 или свой?

Скорее,
 скорее по стежке покатоЙ!

Вон тополь
 шумит за избой,
вон струганый шест
 со скворешней досчатой,
прилаженный в детстве тобой.

Вон кто-то,
 согнувшись,
 стоит под скворешней,
пожухлый платок теребя...

— Куда ты?

 Кого тебе надо, сердешный?

— Да надо бы,
 мама,

 тебя!

* * *

Кто мать находил
 после долгой разлуки?
Нельзя материнские слезы унять.
Положит на плечи
 дрожащие руки,
притихнет,
 прижмется — и в слезы опять

Хлопочет...

Совсем уже старая стала.
Счастливым на старости выпал денек!
Откуда-то сала кусочек достала,
волнуется,
потчует:

— Кушай, сынок! —

Нет, старость недаром ей спину согнула
хорош Алексашка,
себе не в укор.
Еще раз вздохнула,
еще раз всплакнула,
пригладив ладонью сыновний вихор.
И только, когда

до сапог оглядела, —
спросила сыночка
с тревогой в груди:
— А сам-то, Санюша,
ты красный аль белый?
— А как ты смекаешь?
— Да красный, поди... —
Хоть молод сынок,
а морщины над бровью,
судьба-то, видать,
измотала его.

Не терпится выведать
долю сыновью:

— Женился поди уж?

— Да вроде того... —

Что ж, кажется, всё.

Что спросить ей осталось?

Да мало ли!

Сразу-то жизнь не ясна:

Но клонит

сыночка на лавку усталость
в летучее облако близкого сна.



Вот он, сыночек,
 мужицкая сила —
попробуй его на руках укачай!
А был ведь заморыш,
 под сердцем носила,
последышем рос,
 на ветру, невзначай.

* * *

Между тем,
 в пыли купаясь,
темной тучей от реки,
в седлах кожаных качаясь,
гонят рысью беляки.
В конном войске не крестьяне
и не столько мужики,
сколько братья-двоедане¹,
зауральцы-кержаки.

¹ Двоедане — староверы.

С виду

вроде хлебобобы,
поглядишь —

не разберешь.
Только негде ставить пробы,
только совести —
на грош.

Им —

на всё
плевать, собакам,
сели,

гады,
на коня,
непонятым

блудным знаком
волчьей морды осень.

Под хоругвью —
статный конник,

предводитель молодцов,
молодой белопогонник —
Пров Захарыч Воронцов.

Знаменит начальник сотни! —

С детства

водкой совращен,
батогом из подворотни
был родителем крещен.

Отдан был

в семинаристы,
да увял семинарист.

Попытал

итти в артисты —
вылетел в трубу артист.
Белой кости генеральской



кавалер,
танцор
и франт,
он прославился в Уральске
как кудесник-хирсмант.
На лету ловил монету
всех мастей
и всех родов.
А сочти,
так парню нету
двадцати пяти годов.
Он сидит,
кичась собою,
на игренем скакуне,
побледневший с перепояю,
в сером
аглицком сукне.
Белый Сокэл —
по прозванию,
сукин сын —
по естеству,

проходимец —
 по призванью,
и —
 бандит по существу!
На уздечке блещет бисер,
не уздечка,
 а ручей...
Стремя
 в стремя
 едут писарь,
адъютант
 и казначей.
Что душа его хотела, —
то он в жизни и нашел.
На карательное дело,
как на игрище, пошел.
Сам себе устав составил,
подобрал
 народ в отряд,
второпях гулянку справил
и, держась
 отцовских правил,
вышел в степь,
 как на парад.
Жег и грабил без ответа,
вешал,
 мучил
 и зорил,
и еще в начале лета
слух прошел, —
 его за это
сам Колчак благодарил.
По такому факту судя —
ясно всё:
 в конце концов,
несомненно, «вышел в люди»
Пров Захарыч Воронцов.

До пристанища недолго,
гонит банда налегке,
а за ней летит двуколка —
приторочена метелка
на высоком передке.

На осиновом настиле,
каждый наглухо прижат,
почерневшие от пыли,
трое пленников лежат.

Ноют руки,
ноют ноги,
все суставы затекли.

Не видать
троим дороги,
окромя витой петли.

Кто их завтра похоронит?

Не видать на них лица.

Едут трое —
не проронят
ни единого словца.

Через сёла и станицы,
через хлябь осенних вод
гонит

с гиканьем возница
двухколесный эшафот.

Через пустошь,
через озимь,

вдоль
поскотин и садов.

Сбоку надпись:

«Вот как возим
комиссаров и жидов!»

Ой, ты злая степь-раздолье,
серый коршун в небесах!

Входит банда в Белополье
под хоругвью, на рысях.

Темной выдалася ночка.
Не видать вокруг ни зги.
Будит,

будит мать сыночка:

— Саня! Встал бы!

Чужаки!

— Что такое, мать?

— Облава!

— Обожди,

не запирай... —

Глянул влево,

глянул вправо

и опрѐмью —

в сарай.

Ночь холодная, сырая:
но сквозь ветреную тьму
ясно видно из сарая:
кто, зачем
и что к чему.

С головой

укрыты мглою,

учиня тарарам,

с медной лампой под полою

рыщут волки по дворам.

Выметают подчистую

онемелое село —

тащат кошмы,

тащат сбрую,

тащат снѐдь

и барахло.

А еще слышать отсюда,

как,

роняя тонкий звон,

тихо звякает посуда

и картавит граммофон.

Только это
 сбоку где-то,
за подворьями, вдали...
Под дождем
 почти раздетых
пленных мимо провели.
Что им вздохи,
 что им жалость?
Знал бы —
 лучше не смотрел.
Сердце ёкнуло
 и сжалось:
неужели на расстрел?
Не дождались парни свадьбы,
молодежь... Глядеть невмочь...
Доглядеть бы...
 Не отстать бы!
Что бы выдумать —
 помочь?
Повели.
 Ведут.
 Уводят!
Что тут сделать?
 — Ни черта! —
Повернули.
 Встали вроде...
Вводят пленных в ворота.
А!
 Знакомые ворота!
В этом доме ты бывал.
По четыре горьких пота
здесь,
 бывало,
 проливал.
Он еще живет,
 паскуда,
Поликарпов Агафон.

Это здесь
звенит посуда
и картавит граммофон.
Не забыть обиды давней!
Крепко помнит Александр
эти створчатые ставни,
крытый охрой полисад.
Двор широкий за забором,
клеть,
 конюшню,
 сеновал,
с крепким
 внутренним запором
темный
 каменный подвал.
Ах, подвал?!
 Теперь понятно:
пленных прячут под замок!
Как же быть?
 Пойти обратно?
Всё лицо покрыли пятна,
ватник стеганый намок.
Затяни его потуже.
Ах, подвал...
 так там — окно!..
Раньше,
 помнится,
 снаружи
открывалось оно.
Значит, надо ближе к нише,
а потом
 спуститься вниз...
Сердце, сердце,
 тише, тише!
Невзначай не оборвись!
Вот оно, окошко, рядом.
Сам теперь ты в западне.

Часовой прошелся садом.
Ничего!
 Укройся за́ дом.
Как доска, прижмись к стене!
Раз! —
 и сел на часового.
(Не вывертывайся,
 брось!)
Два! —
 и нету часового:
рыло вверх
 и ноги врозь.
Где он, ставень?
 Здесь он, здесь он.
Крепче дерни на себя!
В нос пахнула
 гниль и плесень.
— Эй, товарищи!
 Ребя... —
Темнота.
 Неразбериха.
Страшный шопот ледяной:
— Свой!
— Браток! Откуда?!
— Тихо!
 Осторожнее, за мной! —
При уме да при сноровке
надо двигать напролом —
ненавистные веревки
перерезаны стеклом.
Вот уже пролезли двое.
Третье тулово видно...
Оставайся слуховое,
 неприкрытое окно!
Знать, веревка миновала,
знать, не так пришлась петля...

Ходу!

Мимо сеновала!

За пригон,
за тополя!

Как легко дышать на воле!
Пусть пошлет теперь гонцов,
пусть поищет
ветра в поле

Пров Захарыч Воронцов!
Только тут,
как в круговерти,

Александр
осмыслил вдруг,
от какой ушел он смерти,
от каких укрылся мук.
Лишь теперь

понятно стало,
на какой решился шаг.
Даже кровь похолодала,
даже звон пошел в ушах.
Темной выдалася ночка!
Темноте наперекор
тянет

дружная цепочка
за полынный
за бугор.

Ты прости,
прости, маманя,
столько лет
прийти не смог —
и опять пропал в тумане
неприкаянный сынок!
Кто там скрипнул?!

Кто таится
за оврагом ли,
в кусте ль?

Полно!

 Это стонет птица,
полуночник-коростель.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Не всё ж,
 по-вороньи судача,
судьба
 накликает беду.
Бывает же в жизни удача
в каком-нибудь
 светлом году!
Глумилась судьбина,
 ярилась,
стояла с ножом у ребра,—
а все ж Александру
 открылась
счастливых свершений пора.
Как будто
 поднявшись над тучей,
упрямый,
 лихой,
 молодой,
он вдруг обернулся летучей,
никем не открытой звездой.
Такая выиграла в нем сила,
и зоркость степного орла,
что сабля его
 не косила
и пуля его
 не брала.

* * *

В штабе белых —
 суетня.

(Отыгрались в прятки!)
Не пройдет такого дня —
Чтобы всё в порядке.)
Вертят карты,
 сводок ждут,
головы ломают,
речи длинные ведут,
думают-гадают.
Стыд сознаться:
 на глазах
(просто наказанье!)
появилась в лесах
группа партизанья.
Сводки так и говорят —
прямо,
 откровенно:
партизанский тот отряд
действует мгновенно.
— По размеру не велик,—
сабель двести сорок...
— Мал, как видно, золотник,
да, выходит, дорог!
— Жалить стали
 хуже ос,
не дают покою.
То возьмут
 в тылу обоз,
то отправят
 под откос
эшелон с мукою...
— Наши люди
 сбились с ног,
тщетные усилия:
то уйдут
 в камыш, то в лог...
— Верховодит Черенок,
странная фамилья!



— Черен,
ростом невысок,
свистом обладает,
из-под шапки
на висок
волос выпадает.

— В целом
ясно, как тут быть:
головная птица,—
головную надо сбить,
остальным не скряться.
Уверяю,
господа,—
включил полковник,—
остальные —
ерунда!

Вызвать страх легко в них.
Средства разные подстать,
но на случай этот
есть в запасе, так сказать,
радикальный метод:
если голова умна,
да еще кудрява —
голове такой цена
высока по праву.

Уверяю,
господа,
что найдутся люди
принести ее сюда,
как арбуз на блюде!
Ум в бою —
не трын-трава,
кудри вам — не веник...
Словом, эта голова
стоит наших денег! —
...В штабе белых —
тишина.

Штаб не штаб,
а дача.
В штабе белых решена
сложная задача.

Давно уже листьев осыпалась медь,
всё горше леса
и печальней.

И стала земля под копытом греметь,
как будто она не могла зеленеть,
а вечно была наковальней.

И леску не бросишь уже за корму,
и в лог не пойдешь за фазаном,
и негде пасти

на подножном корму
своих лошадей партизанам.
Но весел привыкший к лишениям народ!
Валезник трещит и пылает.

Чай, знали
отлично

бойцы наперед,
куда их судьба посылает:
На вечер предвидится бой за рекой.
Врагу не уйти от погони.

На вечер
отборный овес и покой

получат бывалые кони.
Серьезные ждут их сегодня дела!

Проверьте,
товарищи-друзи,
верны ли поводья, крепки ль удила,
подтянуты ль
прочны подпруги.

Пусть холод крепчает
и студит клинок

ненстовый ветер-печальник...

А где ж командир,
Александр Черенок,
прославленный в битвах начальник?
Начальник далеко.

Начальник один.
Сидит под березой рябою.
Не взял даже свой боевой карабин,
а взял лишь подсумок с собою.

Достань карандаш,
Александр, и тиши,
бумага найдется в подсумке.

Никто не коснется
тревожной души,
никто не посмеет
нарушить в тиши

твои потаенные думки.
Никто на лице не заметит тоску,
никто не окликнет,
не тронет.

Один только дятел, вертясь на суку,
кору на валежник уронит.

«Здравствуй, Настюшенька,
жинка моя!

Хоть с почтой теперь неудобно,
а все же решился

попробовать я
с тобой побалакать подробно.

Пишу и, не знаю,
дойдет или нет
письмо до московского края.

А если дойдет,
то куда же ответ

напишешь ты свой,
дорогая?

Ведь, чтобы отправить тебе письмецо,

путями околиц опасных
мне нужно пробраться
сквозь вражье кольцо
до почты
на сторону красных.
А глушь здесь такая,
такие леса,
что слов не найду подходящих...
За сутки,
бывает,
раз шесть адреса
меняет почтовый мой ящик.
Забыл я, что где-то шумят города:
то к падам выходим,
то к рекам.
Не думал,
Настюшенька,
я никогда,
что стану лесным человеком.
Кого же ты, ласточка, мне принесла?
Устал я томиться, гадая.
Труднее гадания
нет ремесла,
на каждом шагу — запятая.
Никак не могу до конца докопать,
чем далее, — тем беспокойней:
то девка выходит,
то парень опять,
то дело кончается двойней.
А если девчонка, —
так что с нее взять?
Турнем ее замуж, и крышка.
Найдется же в жизни порядочный зять,
но если,
Настюша,
без шуток сказать,

то лучше бы,—

если мальчишка!

Я с ним познакомился ночью, во сне.

(Во сне ведь чудак я бываю!)

Сидим, будто, мы с ним вдвоем на коне
вприжался он, будто, головкой ко мне,
а я ему вслух напеваю.

А конь все несет и несет по росе,
сквозь дебри и топи, навывлаз!..

Ну, кажется, я заболтался совсем —
нескладным письмо получилось.

Отряд у меня подобрался лихой.

Большую затеяли драку.

Особенных — трое.

Один городской.

Как ссколы, ходят в атаку.

Не знаю,

кто бог среди них,

кто герой —

так много в них воинской жажды.

Я очень горжусь,

что осенней порой

увел их от смерти однажды.

В глубокие чащи я с ними проник,

в тылу беляков беспокоя.

Один — пулеметчик,

другой — подрывник,

а третий — и то и другое.

Ты можешь представить,

он возит в седле

складной

рисовальный треножник,

а чуть передышка —

сидит на земле,

сидит и рисует...

Художник!

Поземка ли дует,
 летят ли дожди —
торчит Шатунов под сосною.
— Пстой,
 говорит,
 командир, подожди,
работа моя еще вся впереди —
рисую тебя я с женою!
А я ему в шутку совет подаю:
— Мне надо бы памятник высечь:
За голову нынче за дурью мою
объявлено в нашем таежном краю
не меньше пятнадцати тысяч!
Долёк я, видать, колчаковцев — беда!
Охотятся бойко за мною.
Впервой оценили меня господа
такой небывалой ценою.
Да только связались они не с таким,
не с той каланчи зазвонили!
...Привет от меня передай заводским
и самый горячий — Даниле.
Ну, кажется,
 Настенька,
 кличут меня.
Народ приготовился к бою.
Целую тебя и сажусь на коня
И сердцем, как прежде,—
 с тобою».

Лиловая муть постепенно легла
притихнувшим соснам на плечи.
Костер догорел, и остыла зола,
и темень уже недалече.
И ветер куда-то прошел стороной,
и месяц холодной рукою
послушные звезды,
 одну за другой,
развесил над темной рекою:

Пора, партизаны.

Враги на виду.

Прощай полудёнка-квартира!

«По коням!» —

звонит на высоком ладу
задористый клич командира.

* * *

Много знал Александр ночей
под горячим дождем свинцовым,
много видывал сволочей,
не видался лишь с Воронцовым.

Но всему свой особый срок.

Хорошо видна с косогора
заскочившая в хуторок
воронцовская волчья свора.

Задержался отряд у горы,
и сказал командир сурово:

— Он хитер,

да и мы хитры!

Надо действовать нам толково!

Кто такой он есть Воронцов —
достоверно

для всех известно.

Так что,

думаю, для бойцов
обратить его будет лестно?
Сколько тут наберется вас,
пострадавших

в плену у гада?

Так что,

думаю,

в этот раз

агитировать мне не надо.

Цель,

товарищи,

коротка́:

доказать ему без урона,
что орел он —
 для Колчака,
а для нас —
 был и есть ворона!
Можно брать хуторок в упор,
путь открытый —
 река застыла.
Но совсем другой коленкор,
если брать хуторок,
 но с тыла.
В лоб по-бойцовски —
 удар неплох,
герой остается всегда героем.
Но будет вернее переполох,
который карателям мы устроим!
Тут особенных нет тягёт,
всё решается
 очень просто:
половина —
 скакать в обход,
половина —
 стоять у моста.
Половина
 ударит в хвост,
да крепчей,
 чтоб в костях ломота!..
А как выгоним их на мост,—
бить по мосту из пулемета! —
Расколослся безмолвный строй:
сотня —
вверх по реке Молчанке,
сотня —
 в ольшанике под горою..
(Пара «максимов» на тачанке.)

Время для верности засекали,
два часа положив на дорогу,
чтобы оставшиеся могли
выйти во-время на подмогу.

Первый выстрел дошел до слуха
через час

 двадцать пять минут,
поглощенный пространством,
 сухо,
словно щелкнул пастуший кнут.
Еще три выстрела прозвучали
и захлебнулись, далеки.
Бойцы в ольшанике
 точно знали,
что командир перешел в клинки.
Теперь надлежало,
 зажав винтовку,
сидеть и ждать,
 и глядеть с седла
с бешеным чувством наизготовку,
с сердцем,
 готовым сгореть дотла.

Как они длятся,

 минуты риска!

С какой медлительностью тупой!

Где там ребята?

 Далеко?

 Близко?

Как он прохсдит,

 неравный бой?

Что если попусту вышла проба?

Тлохой достался бойцам удел...

— Гонят?

 Готовься!

 Глядите в оба!—



Голос дозорного долетел.
И в тот же миг,
 громоносно,
 резко,
дыбясь на воздухе ледяном,
вырвались кони из перелеска
злым,
 беспорядочным табуном.
Банда,
 не зная, что путь к погосту,
давно холодел перед ней мертвд,
вихрем неслась,
 устремляясь к мосту,
чтоб, переправясь,
 взорвать его.
Только дотопали
 до серёдки, —
только последний коня спустил —
с треском
 взлетели перегородки,

ребрами на-косо всѣал настил!
— Та-та-та-та-тта! —
 застрекотало.
— Ух, ты! да ух, ты! —
 росло с бугра.
И, словно отлитое из металла,
обрушилось,
 грянуло,
 заклокотало
круглое,
 огненное «ура!»
Это скакал Александр.
 С размаха
первым настиг командир врага.
(Сбилась налево его папаха
от острого встречного ветерка.)
Первым блеснул командирский росчерк!
И развернулись.
 К руке рука.
Как дровосеки в дубовой роще,
работали конники Черенка.
Кончились,
 кончились вороновцы!
Хитро зажатые с двух сторон,
ломались навстречу они,
 как овцы,—
неся поголовный, сплошной урон.
Особо
 рубил Шатунов Миколка —
с левши,
 пригибаясь лицом к луке.
Припомнилась, видно, ему двуколка,
припомнилась, видно, ему метелка
на мокром трясущемся передке.
Он саблей работал без останова,
с тяжелой яростью кузнеца.
Желанье дорваться до Воронцова

теснило дыхание у бойца.
И он прорубился к нему
вплотную,
и жадно,
насколько хватило сил,
почти задыхаясь,
почти вслепую
дважды бандита перекрестил.
Уже враги не давали сдачи,
уже, кидая свои клинки,
бросались с моста, не ждя удачи,
на синий неведомый лед реки.
И он подламывался под ними
и брал очумевших в один глоток,
и те, что остались еще живыми,
спешили к берегу наутек.
Но тут их,
свистя,
догоняли пули,
и был смертоносен их злой полет,
и жалили пули,
и жгли, и гнули,
и клали башкой
на стеклянный лед.
...Приутихла Молчанка-река,
высоки у нее берега.
Смотрят тысячи дальних звезд
на разбитый,
на длинный мост.
А у моста — попробуй счесть. —
двести свай и два края есть.
Над одним —
разошлись круги,
на другом —
полегли враги.
Тут полынья
и там полынья,

черная рвется наверх струя.
Но не время ей течь,
 струе,
когда снег лежит на траве,
когда в норы ушло зверье,
укрываясь на зимовье,
когда, исхудаив,
 продрог
не то что зверь, —
 ветерок.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Привычную стала с жильем разлука,
но тянет и манит,—
 желай не желай! —
запах печеного хлеба
 и лука,
квохтанье кур
 и собачий лай.
Чуть отпусти лишь
 концы-поводья —
конь уже маху в пути
 не даст:
немедля,
 выведет на угодыя.
на твердый,
 полозьями тертый наст.
И жалобой веет
 от конского ржанья,
и ноет
 у хмурого всадника грудь.
Хочется всаднику
 зимней ранью
к запретным запахам
 завернуть.

Хотя бы на сутки заехать в гости,
ремни сыромятные скинуть с плеч,
раздеться,

разуться,

расправить кости,
почувствовать телом
белянку-печь.

Навек запомнить хозяйки имя,
нежное,

тихое до тоски,
ладом, по-домашнему
руки вымыть,
к столу

придвинуться по-людски.

* *

Вправо ехать — нельзя.

Напрасно:

сплошь кулацкие хутора.

Ехать влево —

вдвойне опасно,

сзади —

отрезан отход вчера.

Спереди —

каппелевские дозоры
стоят,

глазами не шевеля,

в твердых ошейниках, как «trezory»
его величества короля.

Как ты их держишь,

земля родная,

как ты их русской

пойшь водой,

темных пришельцев из-за Дуная,
хлынувших к нам

золотой ордой?

- Эхма!
 Кабы денег тьма!
- А зачем тебе их,
 Егорка?!
- Чьи там вьются голуби
 над избой?
- Кто пошел до проруби
 за водой?
- Кто спешит-торопится
 по задам?
- Чья там баня топится?
 Вот бы нам...
- Вот бы нам ошпариться
 в кипятке!
- Вот бы нам попариться
 на полке!
- Стой, ребята!
 Стой, орлы!
 Будем нонче мы белы!
 Хватит жизни чортовой.
 Подъезжай,
 завертывай!
- Ну-ка, ближе поглядим,
 что за запах,
 что за дым?
- Что под крышей деется,
 кто у печки греется?
- Помотались — шабаш:
 хоть один денек —
 да наш!

* *

Деревенька Сквозняки —
 в каждой хате бедняки.
 Возле каждого двора
 так и вьется детвора.

У мальцов свои волнения —
нет ни шанег, ни сластей,
но зато пришел в селенье
целый ворох новостей:

— К моему заехал тятя
весь в гранатах

 молодой паренек!

— Это что!

 А в нашей хате
сам начальник,

 командир Черенок!

— А у нас остановился
пулеметчик...

 Вот так вот!

Он побрился и помылся,
протирает

 на полу пулемет!

— А у нас боец ночует...

Кисти с красками

 достал из мешка.

Он сказал, что нарисует
командира твоего,

 Черенка! —

Деревенька Сквэзняки
примостилась у реки.

Над рекою темный бор,
возле бора встал дозор.

Темь да ветер обнимают
часовых со всех сторон.

С хриплым карком пролетают
стаи спугнутых ворон.

Не забудьте, часовые,
нынче нужен глаз да глаз.

На такой дозор впервые
командир поставил вас!

Под шумихой под сосновой

постоите час — другой,
подождете смены новой
и уйдете на покой.
Деревенька Сквозняки —
в каждой хате бедняки.
Из конца пройдишь в конец —
в каждой хате спит боец.

* *

Давно уже солнышко встало,
давно уже дым разметала
над ветхою кровлей труба.
Давно расцвела,
 рассветала
завьюженных стекол резьба.
В тумане серебряной пыли
давно из гремучих бадей
бойцы не спеша напоили
студеной водой лошадей.
— Хорошая ночь!
 Отоспались!
За целую зиму, поди...
— Хорошие люди попались
на нашем проклятом пути!
— А где Шатунов наш Миколка?
— Дивимся пропаже дивьем!
— Ушел к Черенку...
— Что-то долго
они с командиром вдвоем? —
Встречаются утречком ранним,
расходятся поздней порой...
— Айдайте, ребята,
 заглянем
в штабную избу под горой!
— Айда! —
Потолклись на приступке,

вошли и...

не верят себе:

сидит командир в полушубке
в натопленной жарко избе!

Палаха заломлена гордо,

за пазуху скрыта рука,
другая спокойно и твердо
лежит на эфесе клинка.

Сидит командир без движенья,
утратив волнение и пыл,
как будто, готовясь к сраженью
он вдруг онемел и застыл.

Сидит,

повинуясь указке,
и весь,

до рубца на ремне,
горит,

отраженный, как в сказке,
на сером льняном полотне.

А рядом —

хлопочет Миколка!

Не сводит с полотнища взгляд.
то красит,

то млеет без толка,
откинувшись резко назад.

— Ну, как

получилась овчина?! —
кричит он бойцам.

— Хороша!.. —

Откашлялись робко и чинно,
и вышли, почти не дыша.

По хатам,

товарищи-друзи!

Еще дожидаются вас
и ветры, и дымы, и вьюги,
и града свинцового пляс.

Он вами не надолго нажит
опасный,
 непрочный приют.
О вас еще сказки расскажут,
о вас еще песни споют!

Москва. 1938 -43 г.

К о н е ц



СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
Д е т с т в о	
Глава первая	5
Глава вторая	14
Глава третья	20
Глава четвертая	31
Ю н о с т ь А л е к с а н д р а	
Глава пятая	39
Глава шестая	55
Глава седьмая	69
Глава восьмая	84
В л е с а х	
Глава девятая	97
Глава десятая	107
Глава одиннадцатая	125
Глава двенадцатая	140

Художник Т. Маврина

•

Редактор Е. Троценко

•

*Подписано к печати 13/XII 1943 г.
А2673. Тираж 25 000 экз.
4^л, печ. л. 7,1 уч.-авт. л. Зак. 1053.
Цена 5 руб.*

•

Фабрика книжной печати
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46.